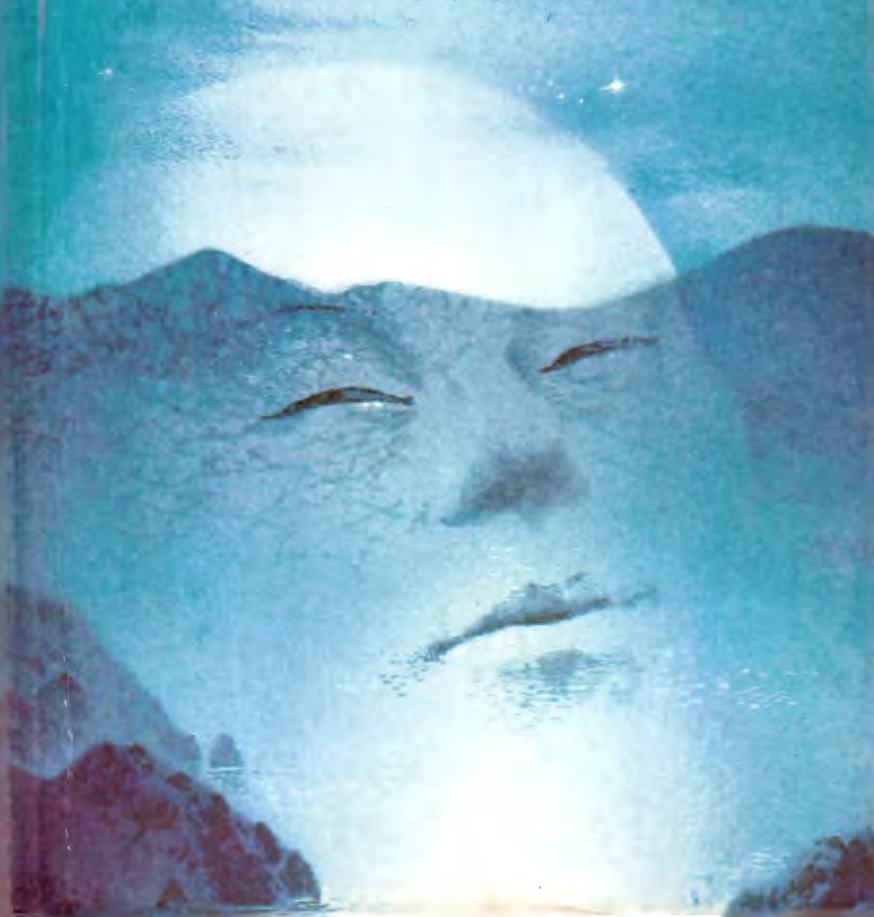


ИЛ

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Сётаро Ясуока

Морской пейзаж



4

安岡章太郎

И (Яп)
Я 86

Главный редактор Н. Т. Федоренко

Я86 **Ясуока С.**
Морской пейзаж/ Пер. с япон., сост.
и предисл. В. Гривнина.— М.: Известия,
1983.—128 с. (Библиотека журнала «Ино-
странный литература»)

Произведения известного писателя Сётаро Ясуока посвящены жизни послевоенной Японии. В центре его внимания внутренний мир вступающего в жизнь молодого человека. Блестящий стилист, Ясуока с предельной выразительностью воссоздает сложные отношения между личностью и буржуазным обществом Японии.

Я $\frac{4703000000-041}{074(02)-83}$ 730-83

ББК 84.5 Я
И(Яп)

© Перевод на русский язык, составление,
предисловие издательство «Известия»,
журнал «Иностранная литература», 1983.

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Сётаро Ясуока

Морской пейзаж

Повесть
Рассказы

*Перевод с японского,
составление и предисловие
В. Гривнина*

Москва
«Известия»
1983

Лирическое путешествие в прошлое

Может ли советский читатель представить себе послевоенную японскую литературу без таких имен, как Ясунари Кавабата, Кобо Абэ, Кэндзабуро Оэ, Такэси Кайко? Вряд ли. Они неизменно ассоциируются с вершинами, которых достигла японская литература последних десятилетий. Именно творчество этих писателей позволяет полно и всесторонне понять особенности литературного процесса в Японии и, что неизмеримо важнее, понять жизнь современной Японии, стоящие перед ней проблемы.

Тем более странно, что из нашего поля зрения выпало творчество известного японского писателя, члена Академии изящных искусств Сётаро Ясуока, имя которого можно смело поставить в один ряд с этими именами. Но пути движения того или иного произведения в чужие страны так сложны, связаны подчас со столькими привходящими обстоятельствами, что однозначно ответить на вопрос, почему не переведены книги того или иного писателя, подчас невозможно. Однако факт остается фактом — за исключением двух небольших рассказов, никакие другие произведения Ясуока на русском языке до сих пор не изданы. Нелишне также напомнить, что Ясуока в 1963 году побывал в Советском Союзе и написал интересную и объективную книгу, проникнутую доброжелательностью к нашей стране. Тем более приятно познакомиться советского читателя, хотя и не так подробно, как хотелось бы, с творчеством Сётаро Ясуока.

Сётаро Ясуока уже не молод. Он родился в 1920 году. Отец его был военным ветеринарным врачом, и вместе с родителями мальчик исколесил всю Японию, поскольку отца без конца переводили из одной части в другую. Это самым печальным образом отразилось на учебе будущего писателя. Кое-как окончив школу, он в течение трех лет не мог поступить в университет, а когда наконец поступил, вскоре провалился на одном из

экзаменов, и его призвали в армию. Но он заболел туберкулезом и попал в госпиталь. Это его спасло, так как вскоре часть, в которой он служил, была отправлена на Филиппины и там полностью уничтожена.

После войны Ясуока окончил английское отделение университета Кэйо в Токио и решил посвятить себя литературе.

Писать он начал довольно поздно. Но первый же его рассказ «Хрустальный башмачок», опубликованный в журнале «Мита бунгаку» в 1951 году, был замечен критикой и выдвинут на премию Акутагава — одну из самых престижных литературных премий Японии. Однако премию эту Ясуока получил лишь через два года за рассказы «Мрачное развлечение» и «Дурная компания».

Многие произведения писателя автобиографичны, что дает основание критике причислять его к тем, кто продолжает традиционную для японской литературы эго-беллетристику. Но эго-беллетристика ни хороша, ни плоха сама по себе. Все дело в «эго». Если человек, рисуя себя, свои ощущения, свое миропонимание, имеет что рассказать читателю, если он личность, пропустившая через свое сердце эпоху и отразившая ее в своем произведении, — эго-беллетристика выходит за узкие рамки индивидуальных переживаний и становится явлением большой литературы. Именно к таким писателям можно смело причислить Ясуока.

Его в первую очередь интересует внутренний мир человека, и проза его может быть с полным основанием названа лирической. Здесь он также продолжает и развивает традиционную японскую эстетику, которая исходит из того, что не событие само по себе, пусть самое острое и увлекательное, должно привлекать писателя, а его осмысление, оценка, проникновение в суть. Событие — лишь повод для раскрытия внутреннего мира человека, его душевных качеств, выявления прекрасных, а порой и отвратительных черт, свойственных герою. Именно этим путем следует Ясуока.

Война и формирование молодого человека — вот две основные темы, волнующие писателя. Почти в каждой его повести,

в каждом рассказе зримо, а иногда и незримо присутствует война. Сам пережив войну, Ясуока на себе ощутил страшное ее дыхание. Война для него не столько гибель и разрушение, даже не столько горечь капитуляции, сколько трагедия человеческой души. В Японии можно, несомненно, найти множество семей, не потерявших родных и близких. Им война создавала даже какие-то жизненные удобства, о чем мы скажем ниже, рассматривая «Морской пейзаж». Так что с точки зрения материальной, особенно до тех пор, пока война не вылилась в тихоокеанскую, предreshившую катастрофу Японии, у многих существовала иллюзия, что война для Японии — благо, что благодаря войне ей удастся разрешить все свои внутренние проблемы, стать в один ряд с крупнейшими державами.

Но все оказалось гораздо сложнее и страшнее. Даже в период, когда, казалось бы, безоблачная жизнь японцев еще не была омрачена поражениями, война уже наносила свои страшные удары по душам японцев. Одних она превращала в зверей, творивших черные дела, которые тяжким бременем легли на их совесть, других превращала в циников, наживавшихся на войне, третьим, отравляя их безразличием, позволяла безбедно существовать в тылу. Такое растление человеческой души не прошло бесследно. Отсюда и бесчисленные трагедии людей после войны, крах семей.

Ясуока ярко и выразительно рисует это в своих произведениях, хотя мы и не найдем в них впечатляющих картин войны, критических пассажей в ее адрес. Но, что гораздо важнее, мы ощущаем ее в каждом поступке героев, в каждом их душевном движении. Войны как таковой на страницах повести и рассказов нет, но ее тень мелькнет перед каждым, кто перевернет последнюю страницу сборника. Читатель сам сможет легко убедиться в этом.

«Морской пейзаж», удостоенный двух литературных премий, одна из которых — авторитетнейшая премия Нома, на первый взгляд может показаться бесхитрым повествованием о переживаниях молодого человека, приехавшего в психиатрическую лечебницу к умирающей матери. Но такое понимание

представляется односторонним, а потому не совсем верным, оно не затрагивает того важнейшего пласта, который выводит повесть за узкие рамки личных переживаний героя.

В повести действительно рассказано о душевном состоянии героя, столкнувшегося с огромной трагедией — смертью матери. Но в ней содержится и еще кое-что. Главное, здесь отражены эпоха, человеческие отношения и даже шире — Япония первых послевоенных лет. И о многих, подчас скрытых от глаз непосвященного, сторонах ее жизни внимательный читатель сможет узнать немало интересного, важного для понимания этой страны.

Ясуока мастерски строит свое произведение, переплетая происходящие события с воспоминаниями героя. Разумеется, это не его открытие. К такому приему прибегали многие писатели. Но Ясуока и не претендует на открытие. Суть же в том, что такое построение повествования органично для цели, которую поставил перед собой писатель, — создать через мировосприятие героя картину Японии конца сороковых — начала пятидесятых годов. Именно это позволило ему с помощью предельно скупых средств, на очень небольшой площади развернуть панораму жизни страны, потерпевшей поражение. Катастрофа Японии — катастрофа семьи. Эту связующую нить ощущаешь все время. Один из персонажей не случайно высказывает мысль, что обрушившиеся на их семью тяготы — возмездие за бездумную жизнь в годы войны. Отец — генерал. Ветеринарный врач, но все-таки генерал, и его жалованья, конечно, хватает на то, чтобы жена и сын жили вполне обеспеченно. Война была где-то далеко. Видимо, так на первых порах воспринимало ее немало японцев. Но прозрение пришло, действительность сурово обошлась даже с теми, кого можно причислить к искренне заблуждавшимся.

Эта мысль приходит на ум, когда читаешь страницы повести, возвращающие нас к последним дням войны, первым послевоенным годам. Все беды семьи Синтаро объясняются тем, что глава семьи почти не жил дома — он то в Маньчжурии, то в Китае, то в странах южных морей — везде, где воевала японская армия,

хотя человек он сугубо мирный и армия ему просто противопоставлена. Армия сломала его. Отсюда опустошенность, неспособность найти себя, адаптироваться к изменившейся обстановке.

Ясуока — рассказчик чрезвычайно сдержанный. О самых трагических вещах он рассказывает спокойно, даже бесстрастно. И это внешнее спокойствие, сталкиваясь с угадываемым внутренним волнением героев, создает удивительный эффект. Трагедия предстает перед читателем с предельной рельефностью.

На тему Золушки в мире создано немало произведений. «Хрустальный башмачок» — одно из них. Это поэтический рассказ о том, как обретенная любовь может ускользнуть, если ты пытаешься духовную и душевную близость грубо растоптать вожделением. Читатель так и остается в неведении, сможет ли найти герой хрустальный башмачок и вернуть любовь девушки. Да и не в этом дело. На первом плане — становление человека как личности, способной осознать самое себя.

В последнее время, особенно когда речь идет о молодежи, часто можно услышать слово «идентификация». Действительно, первая, важнейшая задача сегодняшней молодежи — осознать, что она собой представляет, найти свое место в мире, а это в нынешних условиях дело вовсе не простое. Мы с вами читали об этом, например, в романах Кэндзабуро Оэ. Но Оэ ставит проблему, так сказать, в глобальном масштабе. Ясуока значительно камернее. Однако от этого ракурс, в каком он рассматривает ее, не становится менее интересным.

Японское религиозно-политическое общество «Сока гаккай» основывается на принципе: революция человека — революция общества. Не будем спорить, не будем говорить о том, насколько реально в нынешнем мире путем перестройки человека добиться преобразования общества в целом. Вряд ли можно сомневаться, что подобная постановка проблемы утопична. Но сам факт необходимости перестройки человека в морально-этическом, духовном плане сомнений не вызывает. Поэтому так важно и плодотворно обращение Ясуока к теме, волнующей молодежь современной Японии.

«Цирковая лошадь» — еще одна история о духовном формировании юноши. Это все тот же лирический герой, столкнувшийся с фактом, казалось бы, незначительным, но заставившим его задуматься о своей сущности, о своем месте в жизни. Однажды около цирка он видит старую клячу. И вдруг, придя на цирковое представление, он видит эту же лошадь на арене. Откуда что взялось — теперь это гордое, прекрасное животное. Грациозно и непринужденно она исполняет свой номер, даря радость зрителям. В чем же здесь секрет? — задает себе вопрос герой. И неожиданно читатель осознает — человек должен всегда чувствовать себя на арене. Только в этом случае можно рассчитывать на успех в жизни.

Произведения Ясуока заставляют задуматься о многом. Внешне бесхитростные, казалось бы лишённые занимательности, они как бы втягивают читателя в свою орбиту, и он все глубже и глубже погружается в возникающий перед ним мир. И, закончив чтение, не сразу освобождается от его обаяния. А это главное.

В. Гривнин

Морской пейзаж

Повесть

Сквозь стекло свинцово поблескивало море в заливе Коти. В маленьком такси было душно, как в жарко натопленной бане. Когда машина миновала пристань, поднятая ветром белая пыль, летевшая с известкового карьера, точно занавес, прикрыла лобовое стекло.

Синтаро взглянул на сидевшего рядом отца, Синкити. Вытянув загорелую шею, опершись руками о спинку водительского сиденья, он смотрел прямо перед собой, от напряжения на его щеках пролегли морщины, и казалось, он улыбается. Синтаро не видел его лица целый год — несколько несбритых волосков на шее стали длинными, не меньше сантиметра. Маленькие глазки на круглом лице пожелтели, точно желатин, и безжизненно поблекли, как у всякого несчастного человека.

— Так что же там все-таки случилось?

— Телеграмма какая-то странная, может, она и умерла уже? ...Чтобы обязательно приехали сегодня же вечером, сказано не было; хоть и ясно: теперь это уже вопрос дней,— ответил Синкити. Он говорил медленно, напоминая жующего быка, у которого в углах рта пенится слюна.

— Понятно.

После слов отца ответ Синтаро прозвучал чересчур сухо. Он до конца опустил стекло — ветер с моря, где царил вечерний штиль, был жарким и на температуру в машине никак не повлиял. Закатывая рукава рубахи, прилипшие к потным запястьям, он все время пытался вспомнить ощущение, когда переодеваешься в сухое белье. ...Неожиданно в нос ударил запах варящихся тухлых рыбьих потрохов. Перед машиной,

пронзительно кудахча, проскочила стайка кур, обсыпанных белой пылью по самые гребешки. Покосившись, почти касаясь крышами друг друга, тянутся грубо сколоченные деревянные дома. Это район, где живут так называемые «жители поселков». За поселком дорога становится сравнительно ровной, а чуть дальше — разветвляется.

«Приехали», — подумал Синтаро.

В прошлом году водитель на этом самом месте включил радио. Машина была большая и старая, рядом с водителем устроился Синтаро, а сзади, усадив между собой мать, — отец и тетка. В чемодане в багажнике лежало постельное белье... Плохо настроенный приемник, едва миновали поселок, громко завопил. Передавали комическую сценку. Сквозь взрывы хохота доносился пронзительный женский голос. «Выключите!» — хотел было крикнуть Синтаро, но так и застыл с открытым ртом, ничего не сказав. Водитель предупреждающе поднял руку в черной кожаной перчатке и резко повернул руль. В глаза бросились красные флажки закусочных по обе стороны узкой улочки. Синтаро растерянно сказал:

— Нет, это не та улица.

Нажав ногой на тормоз, водитель недовольно посмотрел на него сквозь темные очки. Отец и тетка подались вперед. В зеркале заднего вида застыло крохотное отражение лица матери. Смеющегося лица. Синтаро непроизвольно подпевал актрисе, исполнявшей модную песенку.

— Если вам нужно К., то это как раз К. и есть.

Раздраженный голос водителя громко разносился в машине. Отец хотел что-то сказать. Чтобы удержать его, Синтаро снова заговорил:

— Нет, нет... Место, куда мы едем, действительно недалеко от К., но нужно повернуть вон там.

Машину окружили люди. Рядом с закусочными болтались синие и красные купальные костюмы, привязанные к навесам крыш. Водитель досадливо щелкнул языком.

— Вы сказали, поедем в К., я подумал, что вам нужно К... Куда поворачивать? Направо, налево?

— Налево. Но все равно придется чуть-чуть вернуться назад...

— Назад? Если назад, то куда же вы едете?

— Куда едем?— прошептал Синтаро. Почему он не может сказать этого? У него была совершенно определенная причина. Матери не следовало знать, куда ее везут. Но только ли в этом дело? Если только в этом, то почему вчера вечером, заказывая машину, он не нарисовал водителю точный план? Машина, словно демонстрируя единодушие с рассерженным водителем, время от времени подвывала. А толпа вокруг нее становилась все больше. Это были курортники. Они назойливо заглядывали в остановившуюся машину, надеясь, наверно, увидеть внутри утопленника. Иначе зачем бы ей останавливаться. Синтаро шепнул на ухо водителю:

— Эйракуэн, знаете? Туда-то как раз нам и нужно.

— *Эйракуэн?*— спросил водитель намеренно громко.

Вокруг машины произошло движение. Водитель выключил радио, медленно повернулся к Синтаро и, перейдя на нарочито грубый осакский диалект, протянул:

— А-а, вон оно что?— покрутил пальцами у виска и, резко повернув руль, поехал назад. Синтаро почувствовал, как еле сдерживаемая тревога превращается в нечто похожее на злость, но против кого?

Теперь, спустя год, Синтаро не мог вспомнить, что же это было за чувство. Нет, судя по всему, не злость на окружающих, а самая обычная растерянность. Но так или иначе, благодаря тому случаю, казалось бы совсем незначительному, перед глазами у него ясно, будто это была картина, возникло все, что он тогда делал.

— Потом вместе поедem в Токио,— сказал он матери.— Вернемся в Токио. Но до этого спокойно проведем денек в К.— Он говорил это в полутемной столовой, освещенной лишь тусклой лампочкой, а мать, неожиданно взбодрившись, принялась мыть пол в прихожей...

Такси взбиралось вверх по крутой дороге. Здесь начиналась

территория лечебницы. По обеим сторонам на склонах росла вишня.

— Весной сюда приходит из города масса народу полюбоваться цветущей вишней.

Это, вспомнил Синтаро, говорил ему молодой санитар, когда он впервые посетил лечебницу, чтобы навести справки. И впрямь тут должно быть очень красиво. Склоны, наверно, сплошь покрыты цветами вишни. Но он не мог представить себе, что на территории лечебницы возможно оживление, обычное для тех мест, куда сходятся люди любоваться цветущей вишней. Все выглядело слишком прилизанным, недоставало естественности, необходимой при любовании вишней. Вопреки словам санитара, Синтаро представил себе лес цветущих деревьев, погруженных в безмолвие, а вовсе не праздничное веселье. Ему казалось, будто глянцевого от стекающего по ним сока стволы вишен, впитывая из почвы невидимые флюиды «безумия», брезгливо стряхивают его с себя в виде розовых лепестков. Посреди склона дорога снова раздвигалась, налево указывала стрелка с надписью:

Женское отделение лечебницы ЭЙРАКУЭН

Машина одним махом преодолела косогор. Поле зрения сразу расширилось, и в начинающих сгущаться сумерках перед глазами возникли маленькая бухта и подковой окаймляющее берег белое недавно построенное здание из бетона — пейзаж, точно цветная картинка с коробки шоколадных конфет. Лечебница.

— Нравится? Красиво и опрятно, правда? Оборудование лечебницы — сами понимаете, провинция, — конечно, устарело, и поэтому нейрохирургические операции, например, делаются здесь весьма редко... Но все равно само здание — красивое и опрятное.

Это говорил тот самый молодой человек, который хвастался вишней на склонах. И Синтаро, сомневавшийся, что в эту вишневую аллею приходят любоваться цветами, без возраже-

ний встретил слова «красиво и опрятно». Да и не нужно было никаких объяснений, чтобы увидеть, как прекрасен этот пейзаж. Но, поразмыслив над словами молодого человека, он решил, что имелась в виду стерильная уборка лечебницы. Действительно, здесь гораздо красивее и опрятнее, чем в любой клинике в пригородах Токио, которые видел Синтаро. Такси стало осторожно спускаться по извилистой дороге, прорезавшей склон.

В вестибюле горел свет. Перед самым подъездом расстилось спокойное, как пруд, море, сверкавшее последними отблесками уходящего дня; но уже приближалось время отбоя, когда в лечебнице выключается свет, и поэтому больных не было видно.

— Ты пойдешь взглянуть, как она?— жалко улыбаясь, спросил отец, посмотрев на сына.

— Разумеется,— раздраженно ответил Синтаро.

Разве это не естественно — ведь он приехал навестить умирающую мать. Но пока в сопровождении санитаря, светившего карманным фонариком, он шел по длинному коридору, где уже был погашен свет, ему вдруг показалось, что он ведет себя несколько театрально. Действительно ли он хочет увидеть мать? Какой смысл идти к человеку, находящемуся в бессознательном состоянии? Может быть, он сейчас торопливо шагает по коридору только потому, что должен исполнить сыновний долг?

— Сюда,— сказал провожатый, взмахнув фонариком.

Синтаро, направившийся к противоположной лестнице, остановился и надел шлепанцы.

— Ее перевели в эту палату...

Молодой человек произнес это официальным тоном, точно настаивая на своей правоте, и пошел вперед, указывая путь. Когда мать клали в больницу, то специально оговорили: палата должна быть светлой, с видом на море. Интересно, давно ли ее перевели сюда? Но сейчас, казалось ему, задавать этот вопрос бессмысленно. Металлическая дверь. В носдри ударил

кисло-сладкий запах. По обеим сторонам коридора шли палаты для тяжелобольных. На окошках, выходивших в коридор,— прочные металлические решетки и толстые проволочные сетки, из-за которых, казалось, доносятся безмолвные вопли. С каждым шагом его все сильнее охватывал животный страх. Луч фонарика, которым светил провожатый, причудливо качаясь из стороны в сторону, вдруг выхватывал из тьмы прильнувшие к сетке лица, горящие глаза, впивавшиеся в Синтаро. Лишь одна дверь слева была полуоткрыта.

Санитар в стоптанных спортивных туфлях остановился. В комнате с дощатым полом, застеленным только одной циновкой, на соломенном матрасе лежала мать, укрытая толстым ватным одеялом.

— Хамагути-сан, как вы себя чувствуете?

Склонившись к самой подушке, санитар говорил неестественно громким голосом. Сквозь выходившее на улицу прямоугольное окно струился лунный свет. Лицо матери, освещенное карманным фонариком, выглядело исхудавшим, безобразно искаженным,— ничего общего с тем, каким оно было прежде. Санитар еще ближе поднес к ее лицу фонарик и пальцами раздвинул веки. Серые зрачки, устремленные в одну точку, оставались неподвижными.

— Хамагути-сан, Хамагути-сан! Из Токио приехал ваш сын! Ваш сын, о котором вы так много нам рассказывали!— Прокричав это у самого ее уха, санитар повернулся к Синтаро. У него было лицо торговца, который, набивая цену, заставляет животное проделывать разные номера.— Попробуйте вы что-нибудь ей сказать. Вдруг она придет в себя.

Он сказал это таким профессиональным тоном, что Синтаро, восприняв его слова как приказ, наклонился над матерью. В нос ударил запах пота и больного тела. Почему-то, вдохнув этот запах, он успокоился. По мере того как тяжелый кисло-сладкий, даже какой-то жаркий дух проникал в него, казалось, все больше согласовывалось то, что было в нем, и то, что его окружало. Теперь в изменившемся до неузнаваемости облике

матери он уловил прежние ее черты. Обычно гладкий, как у ребенка, лоб прорезали морщины, и он стал пергаментно-желтым; когда-то полные, точно надутые, щеки ввалились, будто изнутри вырезали все мясо; открытый рот, из которого был вынут протез и торчал единственный зуб, напоминал темную пещеру. Да к тому же еще и подбородок, прежде толстый до безобразия, непонятно куда исчез и слился с морщинистой шеей. И все же эти преобразившиеся черты лица воскрешали воспоминания о том, какими были они в прошлом... Может быть, именно из-за неузнаваемого почти облика матери разговаривать с ней не хотелось. Ему казалось даже, что чем острее ощущает он перемену, происшедшую в матери, тем кощунственнее прозвучат его слова.

Молодой человек теперь уже явно рассердился:

— Хамагути-сан, это же ваш сын!.. Не понимаете? Сын, сын приехал!— прокричал он в самое ухо матери и покачал головой — мол, никакой надежды.— Ничего не поделаешь, совсем не понимает, что ей говорят.

Бормоча себе это под нос, санитар взял мать за руки и изо всех сил стал трясти их. Из рукавов высунулись ее руки — кости, обтянутые кожей.

— Хватит,— неизвестно почему усмехаясь, сказал Синтаро.— Хватит, пусть она спокойно поспит.

Синтаро действительно сам не понимал, почему усмехается. У него больно сжалось сердце при виде матери — у нее жар, наверно, под сорок, и лучше уж ей эти последние сутки так и оставаться в беспамятстве. А ее доводят до изнеможения криками, раздающимися у самого ее уха, и бесконечной тряской. ...Смеяться в такую минуту недопустимо, но хоть он и не видел в происходящем ничего забавного, щеки вдруг начали подрагивать в улыбке. Почему — непонятно.

Синтаро плотно сжал губы. Но в душе осталось беспокойство. Он по привычке зажал в зубах сигарету, но тут же вспомнил: в палате курить запрещено. Однако заставить себя вынуть сигарету изо рта и сунуть назад в пачку было выше его сил.

— Может, по одной ничего?

И, будто это случайно пришло ему в голову, протянул пачку санитару.

— Можно,— коротко ответил тот, вышел из комнаты, а когда вернулся, в руках у него была пустая банка из-под клея вместо пепельницы. Из-за его спины показалось лицо отца.

Сантаро снова повернулся к санитару и протянул ему зажженную спичку. Глядя на его освещенное лицо, Сантаро заметил, что он бледен и — это было уж совсем неожиданно — еще совсем молод, может быть даже несовершеннолетний. Все трое, чтоб прикурить от одной спички, склонили друг к другу головы — мертвая тишина, разлившаяся в это мгновение в палате, стала невыносимой.

Лицо курящего отца внушало Сантаро неприязнь. Поднеся к вытянутым губам зажатую в толстых пальцах сигарету, отец торопливо затягивался, при этом кадык его и челюсти двигались, как жабры у вытасченной из воды рыбы. А полуприкрытые глаза были мечтательно устремлены в пространство, будто он предвкушает, как втянутый табачный дым разольется по всему его телу... Для любого заядлого курильщика нет ничего приятнее, чем выкурить сигарету. Но отец курил особенно самозабвенно, вокруг для него ничего не существовало — обращаться к нему, когда он курит, было бесполезно — все равно не ответит.

Больные в лечебнице тоже больше всего страдали от запрета курить. Поэтому пепельницы в процедурных кабинетах и кабинетах врачей всегда были чистые, словно только что вымытые. Иначе кто-либо из пациентов, увидев момент, того и гляди подберет окурок. Правда, даже разжившись сигаретой, получить спички ему бы все равно не удалось, но он мог бы добыть огонь, ударив камень о камень или устроив короткое замыкание в уходящей к потолку электропроводке.

— Откровенно говоря, наши больные часто такое придумывают, что нормальному человеку и в голову не придет, вот почему мы не можем позволить себе ни на минуту расслабиться, потерять бдительность.

Синтаро, краем уха слушая рассуждения санитаря, вспоминал, как он жил с отцом и матерью в доме, стоявшем на морском побережье в Кугуинума. Это было на следующий год после окончания войны. Когда отец в военной форме со споротыми петлицами, с каким-то странным кожаным рюкзаком за плечами возвратился с южных островов назад, в Японию, он жил так, будто все еще находился в лагере для военнопленных. Перекопав весь сад, стал выращивать пшеницу, просо, разные овощи, за ворота не ступал ни ногой, панически боясь общения с внешним миром. В рюкзаке, который ему сшил в лагере солдат-скорняк, лежали самые удивительные вещи, например, посуда, которую можно было использовать и для умывания, и для еды, раскрывавшаяся звездообразно противомоскитная сетка... Все эти вещи представляли для отца огромную ценность. По многу раз в день он опускал руку в рюкзак, неторопливо доставал оттуда одну вещь за другой, внимательно рассматривал, а потом долго и тщательно укладывал обратно. Покончив с этим, он вставлял в мундштук ручной работы, сделанный из рога буйвола, заветную сигарету, которую вынимал из походного котелка, и, будто жадничая, понемножку выпускал изо рта дым, попахивавший плесенью.

Одной из его драгоценностей был захваченный грязными руками бамбуковый цилиндрок. В нем лежали черные крупные зерна кунжута. Это были семена растения, которое служило для изготовления специй и табака. Посеянные в дальнем конце сада, они дали темно-зеленые листья как раз к тому времени, когда вышли сигареты, лежавшие в котелке. Отец отрывал по два-три листка, раскладывал их сушиться на веранде, а определив, что они уже высохли, набивал ими трубку и так же, как сейчас, сонно прикрыв глаза, жадно и глубоко затягивался. Через несколько дней такого курения отец заболел, его загорелый лоб покрылся испариной. Он ничего не хотел есть, хотя до этого никогда не страдал отсутствием аппетита, через каждые два-три часа его рвало. Чтобы пригласить врача, матери пришлось продать свою последнюю одежду. Для семьи, лишенной всяких доходов, это была огромная сумма, на ко-

тору можно было питаться в течение нескольких недель... Врач не смог поставить диагноз, но отец через неделю сам поправился, и когда впоследствии оказалось, что виной всему был самодельный табак, которого он выкурил слишком много, болезнь отца предстала в каком-то глупом виде.

— Что ж, надо вам, пожалуй, отдохнуть, вы, наверно, ужасно устали,— сказал санитар, выкурив сигарету.

В его голосе теперь чувствовалось участие, не то что раньше. Но, хоть он и сказал Синтаро, что для них с отцом приготовлена специальная комната, тот ответил, что не собирается никуда уходить, и санитар даже немного растерялся.

— Зачем? Если состояние вашей матушки останется таким же, как сейчас, сегодняшняя ночь пройдет спокойно. А если что-то случится, я тут же вас позову. ...Вы ведь от самого Токио ехали без остановок, устали, конечно.— В тоне санитара слышалось уже не сочувствие, а скорее желание выставить Синтаро из палаты.

— Разве я здесь кому-нибудь мешаю? А спать мне совсем не хочется.

Ему действительно не хотелось спать. Но еще больше не хотелось покидать мать.

— Нет, нисколько не мешаете.

Говоря это, санитар снова посветил фонариком матери в лицо и задумчиво присел у ее изголовья. Весь его вид свидетельствовал, что он и в самом деле оказался в затруднительном положении.

— Вы запираете дверь снаружи?

Синтаро спросил об этом, вспомнив, как ездил навещать жену товарища в психиатрической лечебнице в городе И.

— Нет, палату Хамагути-сан мы теперь не запираем.

У самого уха послышался писк москитов. Синтаро хотел было спросить, не принесет ли санитар ароматические палочки, чтобы отгонять их, но промолчал. Санитар, стоя с фонариком в руке у двери, молча смотрел на него сверху вниз. Синтаро сидел на полу, прислонившись спиной к стене.

— Не беспокойтесь, этой ночью я за ней присмотрю, можете спать спокойно.

Санитар открыл было рот, но отвечать не стал и поджал губы. Висевшая в коридоре лампочка тускло освещала половину его бледного лица. Синтаро впервые почувствовал: слова его, наверно, обидели санитара. Но что в них дурного? Тут неожиданно встал сидевший в темном углу отец.

— Хватит дурака валять, Синтаро, пошли спать,— сказал он громко и первым вышел из палаты.

Сначала грубость отца возмутила Синтаро. Но потом он вдруг понял, чем, собственно, раздражены санитар и отец и за что они рассердились на него. Пожалуй, они подумали — вот, мол, только делает вид, будто выполняет свой «сыновний долг». Глядя на напряженную спину отца, молча шагавшего по коридору, Синтаро ощутил в нем скрытую силу, которая появляется у человека, когда тот, придя последним, молча начинает расталкивать окружающих, чтобы протиснуться в первый ряд. Синтаро казалось, будто безмолвные вопли, льющиеся из забранных металлическими решетками окошек, обращены именно к нему. Он шел за отцом, шаркая шлепанцами и не отрывая глаз от удовлетворенно кивавшего головой санитара.

Утром Синтаро разбудило вставшее над морем солнце. Комната, находившаяся в верхнем этаже над входом в лечебницу, была обращена окнами к морю. Тихое, точно озеро, море — бухта в заливе Коти, с одной стороны ее высился небольшой утес, а с другой — островок, — лизало темной тяжелой водой каменную ограду под самыми окнами. Небо было розовым, а деревья, густо покрывавшие утес и остров, из-за непроглядной зелени казались черными.

Глянув на открывающийся из окна пейзаж, Синтаро снова нырнул под одеяло. Кровать — деревянный топчан, застланный толстой циновкой, — была чистой и удобной, но комната уже зарозовела от проникших в нее лучей утреннего солнца, и снова заснуть было невозможно. Синтаро решил было встать, но все тело вдруг охватила такая слабость, что он никак не мог заставить себя подняться. Позавчера он до поздней

ночи просидел с приятелем в барах в Синдзюку. Низкорослый мужчина в темных очках заговорил с его приятелем. Они обнимали друг друга, смеялись, с какой-то неестественной радостью демонстрируя взаимную приязнь. Непонятно почему, это вызвало у Синтаро желание схватиться с этим мужчиной. И вдруг он увидел у себя в руке осколки стакана. На конторку кассы посыпались удивительно мелкие кусочки стекла, женщина за конторкой, нахмутив брови, что-то сказала, официантки, пригнувшись, засуетились, подбирая осколки. Упавший на пол низкорослый мужчина поднялся и стал протирать очки. Увидев на его лице без очков улыбку, Синтаро выбежал на улицу, бледный от ненависти и презрения к себе. Приятель догнал его, и они пошли в другой бар. Там к их столику подошла крупная женщина в черном и села рядом с ним.

— Сходим куда-нибудь в воскресенье,— предложил Синтаро, и женщина, согласно кивнув, прижалась к нему довольно полной грудью.

Вернувшись на рассвете домой, он увидел телеграмму, сообщавшую, что мать при смерти... Всю первую половину дня он провел в поисках денег на дорогу. Вечером, закончив сборы, вдруг вспомнил, что условился с женщиной из бара, и позвонил по телефону, который она ему дала. Женщина не особенно удивилась и сразу же все поняла. Наверно, это классическая отговорка, к которой прибегают, когда не хотят встречаться: матушка при смерти, прийти в воскресенье не смогу... Странно, неужели мать до самой смерти будет мешать ему в любовных делах. Ведь она уже столько раз появлялась на сцене в самые неподходящие моменты.

Синтаро не видел в случившемся дурного предзнаменования. Пусть его поведение в позапрошлую ночь и не вполне укладывалось в обычные рамки, но в нем не было решительно ничего особенного. Просто он вспомнил об этом, ища причину своей неимоверной усталости.

Проникавшие в комнату лучи солнца порозовели еще больше, а потом превратились в обычный солнечный свет. Плотнo закрыв глаза, он все равно никак не мог заснуть. На соседней

кровати, повернувшись к нему спиной, спал отец. Толстый затылок, широкие плечи, мощная спина. Окружающие считают Синтаро похожим на отца, и лицом и фигурой он вылитый отец, утверждают все. Мать всегда сетовала на это. Она, как ни странно, терпеть не могла отца. И уж которое десятилетие повторяла всем и каждому, что в муже ей все неприятно. Своему единственному сыну она тысячу раз рассказывала, что за отвратительное голубое кимоно с фамильным гербом было на женихе-Синкити в день свадьбы.

— Все оттого, что меня заставили выйти замуж, даже не устроив смотрин. Когда наступил день свадьбы и я увидела, как ко мне медленно подходит человек с крупной выбритой до синевы головой и морщинистой, как у детеныша черепахи, шеей, торчащей из ворота кимоно, я решила, что это священник местного храма, решивший почтить нашу свадьбу своим присутствием, поскольку женился человек, принадлежащий к местной знати. И вдруг мне говорят — это твой жених. Я сразу подумала, может, убежать с этой свадьбы и вернуться домой?

Род отца уходил в глубокую древность, семья его жила в деревне Я.; а мать, дочь банковского служащего, родилась в Токио и училась в Осака. Недовольство этим неравным браком, наверно, и было причиной нелюбви матери к отцу. Так или иначе, именно под влиянием матери Синтаро тоже невзлюбил отца. Все, что бы ни делал отец, и в крупном и в малом, начиная с любимых его блюд и кончая выбором профессии, твердила она сыну,— все никуда не годится... С тех пор он стал стыдиться профессии отца. Однажды, сразу же после переезда на новую квартиру, Синтаро сидел с матерью у котаци* в столовой, рядом с кухней. С черного хода пришел посыльный, и мать разговаривала с ним, продолжая сидеть у котаци; почему-то посыльный спросил:

— Я слышал, супруг ваш военный?

* Котаци — комнатная жаровня, вделанная в пол и накрываемая сверху одеялом.

Может быть, потому, что тогда начался как раз маньчжурский инцидент и все зачитывались печатавшимися в детских журналах военными рассказами, мальчишка-посыльный стал выпрашивать, какое у отца звание, сколько у него сабель.

— Ваш супруг кавалерист?— спросил он под конец.

— Ничего подобного,— ответила мать.

— Нет? Кто же тогда?

Ветеринар, хотел ответить Синтаро, но мать под одеялом, которым был накрыт котацу, схватила его за ногу. Презрительно хмыкнув и не отвечая посыльному, взглянула на Синтаро. В эту минуту чувство стыда, испытываемое матерью, передалось сыну. Боль от ногтей, впившихся ему в ногу, отозвалась в его сердце острой судорогой стыда. И вместе с тем его задело то, что мать стыдится такого пустяка. С тех пор в школьных анкетах и вообще во всех случаях, когда возникала необходимость, Синтаро писал о профессии отца «военный», неизменно испытывая при этом неприятное чувство,— так продолжалось, пока не окончилась война и профессиональных военных не стало.

В конце концов ему, кажется, удалось задремать. Но он тут же проснулся, услышав чьи-то шаги, затихшие у двери, стремительно поднялся и сел на кровати. Дверь отворилась, и в комнату вошел вчерашний санитар. Он выглядел совсем не так, как вечером. На худом бледном лице вокруг губ отросли редкие волоски, похожие на пушок,— установить его возраст было совершенно невозможно. Поблескивая лишенными всякого выражения выпученными глазами, прятавшимися за стеклами очков без оправы, он неумело вытер стоявший у кровати стол и с грохотом поставил на него алюминиевый поднос. Он принес завтрак. По миске с супом из мисо*, по тарелочке с рыбой и по коробке для завтрака — в них был рис. Видимо, рис заменял здесь все, что обычно кладут в такие коробки.

С той минуты, как в комнате появился этот человек, Синтаро

* Мисо — перебродившие соевые бобы, из которых готовят суп, приправу и т. д.

стало не по себе. Почему он принес еду — было ли это проявлением особого отношения к ним или таков порядок приема всех, приезжающих навестить больного? В любом случае это было почему-то ему неприятно.

Он спросил у санитаря, такая ли же это еда, которой кормят пациентов.

— Да, — не задумываясь ответил тот и, сняв крышки с коробок для завтрака, перевернул и налил в них чай.

— Кушайте, пожалуйста, — сказал он и быстро вышел из комнаты.

Аппетита у него вроде не было, но, взяв палочки, Синтаро вдруг почувствовал голод и стал быстро есть. Рис оказался сыроватым и отдавал металлом. Иногда попадались недоверенные рисинки, и они неразжеванными проваливались в желудок.

Синтаро отложил палочки, хотя в коробке для завтрака еще оставалось довольно много риса. Глядя, как отец медленно отправляет в рот рис — в коробке его оставалось еще больше половины, — Синтаро испытал какое-то непонятное чувство... Отец принадлежал к людям, долго и тщательно пережевывающим пищу. И каждый раз, когда он сжимал челюсти, на висках явственно проступали напрягшиеся мышцы. Не замечая свисавших с его тонких губ черных нитей морской капусты, которой заправляется суп из мисо, он упоенно чавкал, а движения кадыка и несбритых волосков на шее означали, что пища в конце концов направляется в пищевод. Так работает четко налаженная машина или исполняет свои привычные функции животное. ...Вдруг отец поднял глаза. Взгляды их встретились.

— Ты почему не ешь? — спросил отец, глядя на Синтаро исподлобья и потягивая чай из крышки.

— Хватит... Я и так съел больше обычного.

— Ну что ж. — Отец — лоб и нос у него покрылись испариной — отпил еще глоток чая, в котором плавали рисинки и какие-то черные скорлупки. — Вкусная у них здесь еда. Рис очень хороший. Вы там, в Токио, едите отвратительный рис,

выдаваемый по талонам, и тебе не понять, что я имею в виду...

Отец говорил, поправляя вставные зубы, и половину слов Синтаро не разобрал. Да и проблема, о которой он толковал, наверно, не стоила выеденного яйца. Скорее всего отцу захотелось посетовать: вот, мол, сын, бросив родителей в деревне, один живет в городе. Но что бы он ни говорил, теперь уж ничего не изменишь.

Синтаро снова улегся. Может быть, так удастся хоть немного успокоиться, подумал он. Но из этого ничего не вышло. Потолок белый — до рези в глазах, в нос бьет запах лака и еще чего-то неприятного. По мере того как угол, под которым проникали в комнату солнечные лучи, увеличивался, жара становилась все сильнее. Солнце всплыло над морем, и его ровная поверхность засверкала желтыми бликами. Из окна, выходявшего на юг, были видны пациенты, направлявшиеся на спортивную площадку. Синтаро раздирали два желания: первое — тотчас отправиться в палату матери и второе — дожидаться, пока его не позовут, может, так будет лучше. И все же, когда в коридоре послышался скрадываемый резиновыми подошвами шум шагов, в сердце почему-то кольнуло беспокойство. Он понял, что по-настоящему был спокоен лишь в те минуты, когда ел рис. Поэтому он и смог съесть так много.

Было около девяти часов, когда в их комнату постучал врач. Увидев человека со стетоскопом, Синтаро, не давая ему раскрыть рта, спросил:

— Что, совсем плохо?

Врач оторопел. Но тут же рассмеялся:

— Нет, почему же плохо? Я как раз иду осмотреть ее. Не хотите со мной?

Он сказал, что только вчера снова вернулся сюда, в лечебницу, сменив предшественника. Каждые полгода происходит смена — один приезжает сюда из главной клиники в Коти, другой едет туда. Врач показался Синтаро симпатичным. Когда он улыбался, два передних ослепительно белых зуба прикусыва-

ли тонкую нижнюю губу; человек он, как видно было по его открытому загорелому лицу, честный и прямодушный.

Врач быстро шел по коридору. Накинутый на плечи длинный белый халат развевался от его стремительной походки. Пациенты останавливались поздороваться с ним; одним он говорил: «О, вы еще здесь», других молча похлопывал по плечу. Своим поведением он напоминал студента, назначенного капитаном спортивной команды. Наверно, над его столом можно было бы начертать девиз: «Принуждаю, но не свирепствую». Так подумал Синтаро, когда увидел, как пациенты, толпившиеся около кухни, бросились в рассыпную, заметив его приближение.

Когда они, миновав кухню, повернули за угол, впереди показалась выкрашенная светло-зеленой краской металлическая дверь. За ней находились палаты для тяжелобольных. Мужчина с забинтованной шеей, в белых брюках чуть ниже колен, надавив плечом, открыл дверь. Вчерашний кисло-сладкий запах сменился доносившимся из кухни запахом рыбы — он будто специально был создан, чтобы обволакивать мертвые тела. Коридор вдруг стал темным и узким, в забранных решеткой окошках по обеим его сторонам появились обращенные к ним лица. Каждый шаг давался Синтаро с огромным трудом — казалось, все суставы разболтались и перестали ему служить. Полноватая молодая женщина, совершенно голая, напевая ходившая из угла в угол палаты; темнолицый мужчина, непрерывно кланявшийся, повернувшись к стене; старик, читавший книгу, лежа на полу, — каждый из них, заслышав шум шагов, сразу кидался к окну и вцеплялся в решетку. Может быть, из-за слабого освещения, вобравшего в себя цвет стен, в выражении их бледных лиц было что-то напоминавшее пресмыкающихся.

Мать, как и вчера, спала, открыв рот. Стриженные седые волосы свисали на поблекшие, как у затасканной грязной куклы, лоб и щеки.

Осмотр врача, как Синтаро и предполагал, был весьма деловым. Заглянув в историю болезни, принесенную санита-

ром, он обнажил грудь пациентки; два раза слегка прижал к ней стетоскоп и встал.

— Температура?

— Была тридцать девять и одна.

— И пульс девяносто два?.. Как и прежде?

— Вчера вечером, перед тем как приехали ее навестить, я сделал укол камфары.

Закончив эту короткую беседу с санитаром, врач повернулся к Синтаро и, улыбаясь, сказал:

— После Токио вам здесь, наверно, жарко?

Улыбка у него была приветливая. Синтаро покачал головой, мол, ничего страшного, и, желая еще немного поговорить с врачом, направившимся к выходу, спросил, что это за болезнь — старческое слабоумие, которое находят у матери. И попросил быть с ним совершенно откровенным.

— Видите ли, мы и сами толком не знаем причин этой болезни,— сказал врач уклончиво.— Можно лишь констатировать, что после войны их стало значительно больше, я имею в виду таких больных...

Физически человек совершенно здоров, и лишь клетки головного мозга стареют и разрушаются. По мере роста продолжительности человеческой жизни, чему способствует развитие медицины, количество больных, страдающих слабоумием, возрастает. В настоящее время самое большое число подобных случаев зарегистрировано в Соединенных Штатах. Вот что сообщил врач. Синтаро приуныл. Он надеялся услышать точное, конкретное объяснение, аналогичное правилам спортивной игры. Получи он такое объяснение, и, как ему представлялось, положение, в котором он сейчас оказался, обрело бы почву, перестало быть абстрактным.

— Кстати,— спросил врач,— сколько лет вашей матушке?

— Сколько лет? Пятьдесят...

Синтаро не мог ответить точно и, сказав это, неопределенно улыбнулся. С лица врача исчезла улыбка. Синтаро, теряя самообладание, продолжал:

— Что-то около пятидесяти восьми или пятидесяти девяти, смотря как считать...

Однако врач всем своим видом показывал, что к ответу Синтаро он потерял всякий интерес. Рот, в котором виднелись ослепительно белые зубы, плотно закрылся, сухая темная кожа, казалось, еще сильнее обтянула его лицо с выдающимися скулами, оно стало неприступным. Глаза санитаря сверкнули за очками. Синтаро испытал жалкую растерянность. ...И дело не в том, что он не мог точно назвать возраст матери. Зачем врачу потребовалось узнавать это у него, когда достаточно было заглянуть в историю болезни. Так думал Синтаро, вспоминая лицо врача, с которым встретился год назад, когда привез сюда мать.

Тот был постарше, с круглым приветливым лицом. Все время, пока они беседовали, он растягивал влажные губы в нечто напоминающее улыбку и говорил очень тихо, с токийским акцентом. Идя рядом с Синтаро по коридору, он туманно распространялся о характере болезни матери, о лечебнице:

— Видите ли, такого рода болезни требуют длительного лечения, и поэтому среди пациентов лишь единицы в состоянии самостоятельно оплачивать пребывание в больнице. Большинство пользуется страховым пособием. На еду и пребывание в лечебнице пособия вполне хватает, ну а какую одежду получают пациенты, вы сами видите...— Врач пытался объяснить, почему больные одеты так бедно. Действительно, почти все они были чуть ли не в лохмотьях, которые и одеждой-то нельзя было назвать. Синтаро ответил, что зато стирка, как ему представляется, организована прекрасно, и главное внимание уделяется не красоте одежды, а ее чистоте. Врач, по-видимому, остался доволен его ответом и, покачав головой, сказал сердечно:— Для нас это поистине благо, когда в лечебницу поступают пациенты, имеющие родных, которые, как это делаете вы, оплачивают все расходы.

Чтобы выйти из несколько щекотливого положения, Синтаро решил задать вопрос:

— Интересно, сколько по всей Японии насчитывается людей с той же болезнью, что у матери?

Врач, расплывшись в улыбке, сказал:

— Совершенно неизвестно. За границей стариков, да и вообще всех, кто заболевает этой болезнью, немедленно помещают в лечебницу, а у нас — особый ли вид семейственности тому виной или индивидуализм, но почти всех подобных больных оставляют дома и стараются не выпускать на улицу. Тем более, это главным образом болезнь стариков. ...Как и в вашем случае.

Синтаро помнил — тогда он на мгновение даже остановился, вдруг представив себе, что коридор уходит в бескрайнюю даль.

Разумеется, причиной всему растерянность, похожая на головокружение. Чем была она вызвана, он и сам толком не понимал. Но чувствовал, как зеленая дверь в конце нескончаемого монотонного коридора с желтым пластиковым полом, белыми стенами и зелеными рамами окон, — дверь, за которой мать осталась в одиночестве в своей палате, становится недостижимо далекой, все уменьшаясь и уменьшаясь в размерах. ...И в ушах его беспрерывно отдавались слова «...индивидуализм... семейственность...», произнесенные тихим приятным голосом, точно звуки неведомого музыкального инструмента.

Такая же растерянность охватила его и теперь, при виде подавляющего своим молчанием темнолицего врача и санитаря. Или, лучше сказать, растерянность эта, преследовавшая Синтаро по пятам, воспользовавшись его оплошностью, снова овладела им.

— Вашей матушке шестьдесят, — сказал врач, придав своему лицу мрачное выражение. — Еще совсем не старая, когда речь идет о такой болезни.

— А в каком возрасте обычно заболевают ею?

— Трудно сказать. — Врач недовольно поджал губы.

Врач-невропатолог одной университетской клиники однажды объяснил Синтаро, что у деревенских жительниц, которым не очень-то много приходится работать головой, с определен-

ного возраста начинается быстрое разрушение клеток головного мозга и наступает старческое слабоумие. Но к матери такое объяснение вряд ли применимо. Действительно, отец, даже когда не уезжал из Японии, часто отлучался из дому, и мать — отец прекрасно обеспечил ее, и она была полной хозяйкой в доме — безбедно и счастливо жила вдвоем с сыном. Но это, разумеется, не значит, что в жизни ей не приходилось ни о чем задумываться. Причина ее болезни была, пожалуй, другая — резкий контраст между той давней, безоблачной жизнью и нуждой, которая обрушилась на нее в послевоенные годы, а тут еще у нее начался климакс, вызвавший и физиологические отклонения.

Впрочем, даже рассказав обо всем этом врачу, выяснять у него истинную причину болезни матери не только немисливо, но и просто бесполезно. А о возрасте матери врач, конечно, заговорил просто так. Его слова не звучали ни как утешение, ни как прощание. Они были лишь знаком — пора покинуть палату. И вот Синтаро опростоволосился — не вспомнил, сколько сейчас матери лет. В растерянности, так и не растаявшей в его сердце, он молча провожал глазами выходящего из палаты врача, халат которого развевался как и раньше, когда они шли сюда.

Почему-то еще с детских лет родная деревня вызывала у него чувство страха. Перелистывая альбом, он вдруг наткнулся на потемневшую фотографию. В центре, в черном кимоно, на стуле, какие делают в Китае, сидела бабушка, а вокруг нее в два ряда чинно выстроились дяди, тети, двоюродные братья и сестры Синтаро. Женщины, спрятав руки в рукава кимоно, стояли впереди. Двоюродные братья одного с ним возраста были в длинных треугольных накидках, из-под которых торчали ноги в носках. Все изображенное на фотографии казалось ему странным, старомодным и каким-то жалким, но в то же время подавляло царившей на фото суровой атмосферой.

Отец часто получал письма от бабушки. В них всегда была приписка: в этом месяце направляться, например, на восток

ни в коем случае нельзя, поскольку сейчас там находятся злые демоны.

— Ну к чему она это пишет, ведь мне ежедневно приходится отправляться в сторону своего учреждения.— Пробежав глазами письмо бабушки, он вкладывал его обратно в конверт. Но мать снова его вынимала и, читая, всегда ворчала с недовольным лицом. ...Теперь-то Синтаро понимал, что главной целью писем бабушки было выклянчить немного денег, но в то время глухие ссоры, всякий раз вспыхивавшие между отцом и матерью, когда приходило письмо, Синтаро связывал со страшными словами о злых демонах. И, глядя на фотографию, где выстроились его деревенские родственники, он бормотал себе под нос: «У, прожорливые злые демоны!»

Когда он подрос и оканчивал начальную школу, родная деревня стала ему неприятна уже по другой причине. Прошло два месяца после того, как отца перевели на новое место, и Синтаро из школы в Хирасака попал в токийскую. И вдруг неожиданно для себя обнаружил, что говорит не так, как остальные ученики. В самом деле, едва он открывал рот, все умолкали, внимательно вслушиваясь в его речь. Он изо всех сил старался говорить как другие, но тогда у него появлялось ощущение, будто язык забивает весь рот и не дает как следует произносить слова. С тех пор, чтобы не ходить в школу, он стал часто притворяться больным. И убедился, что ложь начинается с веры в правдивость сказанных тобою слов. Во всяком случае он понял, насколько обременительно в школе и дома говорить разные вещи. Когда же он наконец освоил новые интонации, двоюродный брат его, студент, заявил, словно удивляясь его попугайскому трюку:

— Ух ты, ну и Син-тян, заговорил как настоящий токиец. Молодчина!

Рядом с ними жили еще две семьи, выходцы из их мест. И обе, точно сговорившись, ежегодно отправлялись на родину. Было больно смотреть, как их крохотные детишки, еще не ходившие в школу, с маленькими рюкзаками за спиной семенили в хвосте каравана, груженного крупными и мелкими

вещами. Но отцы этих детишек обычно говорили родителям Синтаро:

— Если ребятам не показывать наше Коти, они в конце концов забудут родину.— А сами имели в виду то, чего не решались сказать вслух: «Мы не хотим, чтобы они стали такими, как вы».

Почему они так крепко были привязаны к своей родине? И что значит — забыть родину? Такой ли уж это страшный грех? Каждый раз, когда Синтаро встречал кого-либо из этих семей, его детское сердце трепетало. Для него слово «родина» было, в общем, пустым звуком. Думая о ней, он испытывал раздражение и беспокойство, так бывает, когда вдруг никак не можешь вспомнить своего обещания. Двух слов «забыть родину» было достаточно, чтобы он почувствовал, что совершает нечто постыдное.

Как похоже это чувство стыда на растерянность, охватившую его, когда он вместе с врачом и санитаром стоял у постели матери.

Синтаро решил весь день — с утра до вечера — провести в палате матери. Ему казалось: это — лучшее средство, чтобы успокоиться. Санитар, как и вчера, всем своим видом показывал, как его это стесняет. По его мнению, самое удобное для них — ждать в комнате, выходявшей окнами на море, где они провели ночь, но Синтаро думал по-другому. Уж если суждено навлечь на себя его неудовольствие, лучше всего быть рядом с больной. Иначе какой смысл был ехать сюда, в такую даль?

Палата в четыре дзё* выкрашена в светло-зеленый цвет. Для такой крохотной комнаты потолок непропорционально высок, а бетонные стены — толсты, и потому, когда сидишь в ней, кажется, будто залез в башню или в трубу. В углу кусок пола — метр на метр — был выложен плиткой, там

* Дзё — единица измерения жилой площади. Одно дзё — примерно 1,5 кв. м.

стоял унитаз. Чтобы спустить воду, санитар должен был повернуть кран в коридоре. Кран был вынесен в коридор, чтобы больные не могли пить воду из унитаза. Но мать, по-видимому, уже давно (а может быть, и совсем) не пользовалась унитазом: он был совершенно сухой — на дне даже лежала серая пыль — и прикрыт пожелтевшей газетой. Рядом с унитазом стопкой лежали застиранные тряпки, связанные красным шнурком. Потом Синтаро понял, что их используют в качестве простынок.

Синтаро сел на пол и прислонился к стене. Вытянул ноги; они дотянулись до постели матери, и он вынужден был подобрать их. Это было сначала мучительно неудобно, но потом он привык. Комната, конечно, унылая, однако с какого-то мгновения она стала казаться ему вполне сносной. Почему-то у него возникло ощущение, будто он уже давным-давно живет в ней. Он даже подумал, не поселиться ли и ему самому в такой комнате. Быть запертым в ней даже удобно — можно жить, не двигаясь с места. Подобная жизнь не так уж и плоха. ...В толстой двери внизу, у самого пола, проделано отверстие. Оно служит для того, чтобы в положенное время просовывать через него коробку с едой. Содержимое, конечно, не бог весть какое, но если почти не двигаться, калорий вполне достаточно для поддержания жизненных сил.

Пришло время обеда, и в больничном корпусе наступило оживление. Как только послышались выкрики из кухни, находившейся в дальнем конце здания, из всех палат начали доноситься самые разные звуки. Стало слышно, как, встав, застилают постели, как шагают по палате, как потягиваются, как глотают голодную слюну, — звуки эти, слившись и смешавшись со стуком посуды, скрипом колес и шуршанием шин тележки, развозящей еду, бульканьем супа в бочонке и стуком капель, падающих на пол, криками повара и санитаря, приглашающих на обед ходячих больных, ласкали слух, точно шелест листвы в непогоду.

Наконец скрип тележки и шум шагов послышались и в этом коридоре. Санитар просунул голову в дверь.

— Как быть с едой? Отвезти в ту же комнату, что и утром? — спросил он бодрым голосом.

За весь сегодняшний день у него впервые было приветливое лицо. Синтаро не хотелось портить ему хорошее настроение, так редко посещавшее его, но он все же сказал:

— Никакой еды мне не нужно.

Он хотел еще добавить, что обычно ест два раза в день, но не успел — санитар тотчас скрылся за дверь. Аппетита действительно не было, но главное, очень уж не хотелось покидать палату и идти в свою комнату. Вчера у него тоже не было никакого аппетита, однако принявшись за еду, он хоть и немного, но все-таки поел, наверно, согласись он пообедать, так было бы и сейчас. А отказался он потому, что вчера, не поев, ни за что не успокоился бы, сегодня же такой необходимости не было.

Во второй половине дня стало невыносимо жарко. Когда солнце ударило в окно, выходящее на запад, в крохотной комнатке от лучей его некуда было укрыться. Синтаро хотел чем-нибудь завесить окно, но в стене он не увидел ни гвоздя, ни крюка. Была такая жара, что казалось, даже стены покрылись потом и с них вот-вот потечет расплавленная зеленая краска. Наверно, из-за жары у больной в соседней палате случился припадок — она уже давно кричала:

— Санитар, санитар! Обед, обед! В животе пусто, в животе... Санитар, санитар!

Крик ее странно напоминал крик огромной неведомой птицы. Хриплым пронзительным голосом она упорно повторяла одни и те же слова с непостижимыми интонациями, не свойственными ни одному человеческому языку.

— Ну что ты кричишь? Ведь только что пообедала. Замолчи, падень легкое кимоно и сиди спокойно. А будешь кричать, санитар тебя изругает.

Это говорила женщина средних лет из палаты напротив. Но именно ее голос был неприятен Синтаро. Наверно, больные пререкались, желая произвести хорошее впечатление на санита-

ра. В другой палате рядом с женщиной находился старик. Мужское отделение было за поворотом вишневой аллеи, и лишь тяжелые больные, в том числе и мужчины, занимали отдельные палаты в этом крыле здания. Однако по внешнему виду невозможно было установить, в чем заключается болезнь старика. Он всегда лежал на полу, укутавшись в одеяло, как бы от холода, лоб пересекали глубокие морщины, точно его мучит страшная боль. Он — единственный из всех пациентов — не вскакивал и не прилипал к решетке окна, когда по коридору проходил санитар. Все остальные на разные голоса здоровались с санитаром, кланялись, изображая на лицах полную преданность. Когда Синтаро впервые попал сюда, это изумило его, больные по ошибке приняли его за нового санитаря. Он обнаружил это однажды, направляясь в уборную, и, чуть было не рассмеявшись, подумал: как странно.

Мать все еще спала. Почему-то один глаз был слегка приоткрыт и серый зрачок обращен на Синтаро. С полгода назад она совсем потеряла зрение. Глухо жужжа, в комнату влетела, сверкая зеленым брюшком, огромная муха и стала кружить у глаз и широко открытого рта матери, но ни один мускул на ее лице не дрогнул. И только громкое размеренное дыхание свидетельствовало о том, что она жива.

За окном — обращенная к морю спортивная площадка, но так как окно совсем маленькое, а стена толстая, в поле зрения она не попадает, и из палаты можно видеть лишь часть склона и гребень горы, подковой окружающей здание клиники. Но сейчас окно залито солнцем — к нему и не повернешься. Изредка доносятся выкрики и смех легких больных — наверно, босиком, с охалками белья для стирки, сломя голову мчатся через спортивную площадку. Эта воображаемая картина, разделенная оконным переплетом на четыре части, напомнила ему яркий кадр кинофильма. Отсюда, из палаты все это должно было выглядеть как сцена из жизни инопланетян.

Муха опустила на мать свое лицо. Синтаро согнал ее и прихлопнул свернутой газетой — она упала на пол, уронив на него капельку крови, но тут же у открытого окна закружились

новые мухи. Однако его это даже обрадовало. Отгонять мух — как-никак работа. Замахиваясь газетой на очередную жертву, присевшую на пол передохнуть, он неожиданно вспомнил, как три года назад бродил однажды по токийским улицам. Как думал — сколько же еще ходить ему по этим пышущим жаром, иссушенным до белизны улицам, которым, казалось, нет конца...

Ему пришлось несколько дней подряд бесцельно бродить по городу. А дело было вот в чем. Через месяц они должны были освободить дом на побережье Кугуинума. Им причиталось немного денег в качестве отступного, но что им делать дальше, они не знали. Оставался один лишь выход — отец с матерью поедут в родную деревню отца, а Синтаро подыщет себе жилье в Токио. Неизвестно почему, они вдруг решили, что на деньги, полученные от правительства в виде ссуды, смогут построить дом в Токио и поселиться там втроем. Был один человек, знакомый со служащим кредитного банка, субсидирующего строительство, и, если попросить его, он с радостью ссудит деньги — мать от кого-то узнала об этом; Синтаро поручили встретиться с этим человеком, служившим в фирме с туманным названием «Ёцубиси сангё»*. Он оказался низкорослым человеком с маленьким личиком и крохотными руками. Одна рука была обмотана грязным бинтом; когда он разговаривал, лоб его прорезали глубокие морщины, может быть, потому, что ему приходилось все время задирать голову. Прежде всего он спросил Синтаро, сколько у него денег. Синтаро честно ответил, что сейчас денег нет, но через месяц будет тысяча десять. Мужчина выслушал его, слегка наклонив голову набок, и сказал:

— Ну что ж, прекрасно. Попробую помочь.

Первое место, куда он повел Синтаро, был довольно большой банк. Здесь свои дела они закончили сравнительно быстро.

* Наименование предприятия названо туманным потому, что оно как бы пародирует название крупнейшего монополистического объединения Японии «Мицубиси сангё».

Мужчина подошел к окошечку, сказал несколько слов, поклонился с преувеличенной учтивостью и, торопя Синтаро, устроившегося было на мягком диване, быстро вышел с ним вместе из банка. Пока они добирались до следующего учреждения, он разъяснял:

— Дело такое. Я разговариваю со служащим и не должен кланяться в знак согласия. А если уж поклонился, значит, согласие выразил мой собеседник.

Теперь они пришли не в государственное учреждение, а в контору маклера по продаже земли и строений. Здесь тоже нашелся человек, знакомый со служащим кредитного банка. Он сел на велосипед и поехал показать им, куда направиться дальше, а они оба шли следом за ним. Но когда они наконец добрались до места, нужного им служащего там не оказалось. Так закончился первый день. Назавтра Синтаро пошел туда в сопровождении человека из «Ёдубиси». Служащего снова на месте не было.

— Главное, не отступать,— сказал его спутник.

Они решили ждать в приемной. Не прошло и десяти минут, как пришла девушка из канцелярии и попросила их немедленно покинуть учреждение, поскольку здесь встреча с его сотрудниками категорически воспрещена.

— Кто это приказал?— спросил мужчина.— Вы не назовете его имени?

Девушка сказала, это распоряжение Я. Тогда он поблагодарил девушку, тут же открыл дверь и с громким криком «Я.-сан!» направился в соседнюю комнату. Синтаро вошел вслед за ним.

Мужчина что-то торопливо рассказывал начальнику. Он, не переводя дыхания, говорил обо всем подряд — о погоде, о своей радости, об их наконец состоявшейся встрече, о своей собственной семье, и при этом все время кланялся. Тонкое, в бесчисленных порезах от бритвы лицо начальника напоминало Синтаро лицо его классного руководителя в школе, начальник этот смотрел куда-то в сторону, то задирали брюки чуть ли не до колен, то снова одергивал их, временами устремляя

взгляд на шахматы, стоявшие на соседнем столе... Проговорив с полчаса, мужчина сказал:

— Итак, до завтра,— и, поклонившись, вышел из комнаты.

Он сказал Синтаро, что операцию они начнут завтра, нужно только как-то установить контакт с этим Я., и тогда несомненно удастся получить кредит. Возможно и так, согласился с ним Синтаро. Мужчина удовлетворенно кивнул и спросил, есть ли у него деньги. Если есть, то неплохо бы вечером угостить Я. У Синтаро денег не было, о чем он ему и сообщил. Тогда, сказал мужчина, надо дождаться, пока Я. пойдет домой, и узнать у него, где он живет, а если не удастся, выследить, куда он пойдет. Синтаро слушал, углубившись в свои мысли. ...Придя в себя, он обнаружил, что в одиночестве пересекает улицу, где находилось учреждение, из которого они только что вышли, а мужчина стоит на островке безопасности, смотрит на Синтаро и, возмущенно пожимая плечами, ждет, пока пройдет трамвай. Наконец, лавируя между грузовиками и автобусами, он подошел к Синтаро и сказал недовольным тоном, что у него, мол, нет никакого энтузиазма.

— Вы совсем не знаете, как следует кланяться. Если и в дальнейшем собираетесь отвешивать такие поклоны, лучше уж стойте в стороне. ...Вы действительно намерены строить дом? Дом, понимаете, дом! Сейчас решается вопрос, будет у вас свой дом или нет!— глядя на Синтаро, быстро говорил мужчина, его вспотевшие брови лоснились.

Синтаро не знал, что и ответить. У него в самом деле не было никакого желания строить дом. Но зачем он тогда тащится за этим человеком по раскаленной улице? Нет, у него и в мыслях не было строить дом. Но не потому, что мужчина этот казался ему подозрительным, и не потому, что он не хотел пускаться в сомнительное предприятие, чтоб раздобыть ссуду. Просто у него не было никакого желания жить вместе с отцом и матерью.

Так зачем же он все-таки ходил тогда по городу? Шагал вслед за мужчиной по залитым солнцем улицам и на завтра, и еще через день. Они останавливались, совещались, кланялись,

спрашивали дорогу, снова кланялись незнакомым людям,— это продолжалось каждый день с утра до вечера, пока Синтаро, совершенно обессиленный, так ничего и не добившись, вернулся домой в Кугуинума и наконец вздохнул с облегчением. Мать с потемневшим лицом вышла в прихожую встретить его.

— Ничего не вышло?— спросила она.

И когда он отрицательно покачал головой, давая понять, что затея провалилась, почему-то и сам искренне расстроился.

После захода солнца мух не стало. Лицо матери вместе со стенами растворилось в темноте, и виднелся лишь ее белый выпуклый лоб. Пришел отец.

— Сменить тебя?— спросил он.

Услыхав «сменить», Синтаро тут же вспомнил слова санитара, что сидеть кому-либо у изголовья больной особой необходимости нет, но все равно послушно встал и вышел из палаты.

Море по-прежнему выглядело точно нарисованное. Оно было удивительно спокойным, на воде черными тенями сидели крохотные птички, справа, прочерчивая плавную, точно женская рука, линию, возвышался утес. Слева сверкал огнями причал.

Да, открывавшийся отсюда вид был совершенен, он как бы в чистом виде воплощал идею пейзажа. Сюда ничего невозможно было добавить. Такой пейзаж человек способен лишь единожды окинуть взглядом — долго рассматривать его невозможно. Стоя на месте, Синтаро смотрел на прогуливавшихся больных. Они тоже постепенно тонули в сумерках, и фигуры их растворялись в пейзаже. В бухту с зажженными огнями входило небольшое судно. На нем плыли работники лечебницы. Неужели пришло время смены персонала? На судне виднелись белые шапочки медсестер. Больные устремились к берегу. И тут Синтаро вдруг вспомнил, что это не обычные больные. Он был потрясен.

Хоть и сам не понимал, что его так потрясло. Может быть, его поразило то, что он так погрузился в раскрывшийся

перед ним пейзаж? Или сознание, что в этих больных таится безумие? Он так и не нашел ответа, и единственное, что знал точно — эта сцена должна помочь ему понять мать.

В наступивших сумерках было легче воскресить в памяти лицо матери, стоящей засунув руки в карманы фартука. Это было выражение лица, к которому Синтаро привык с детства. Выражение, с каким она поднималась с ним по крутой каменной лестнице к дому учителя — извиниться за плохую успеваемость сына; выражение, с каким она встречала его, когда он без предупреждения возвращался из летнего школьного лагеря; выражение, с каким она, неожиданно придя в военный госпиталь проведать его, сообщила, что дом их в Токио сгорел во время воздушного налета; выражение, с каким она выслушивала в тот день от сына, что он покидает родной дом на побережье Кугуинума; наконец, выражение, с каким она, живя в доме дяди в деревне Я., в прошлом году летним вечером бесцельно ходила в одиночестве по дорожке от ворот до порога и обратно.

Чтобы воскресить в памяти все эти лица на фоне печального пейзажа, ему потребовалось не так уж много времени. Но как ни пытался он представить себе, что в них уже тогда свидетельствовало о безумии матери, это ему не удавалось.

Время со дня окончания войны и до мая следующего года, когда вернулся отец, для Синтаро и матери было, безусловно, самым счастливым. Синтаро, заболевший в армии туберкулезом, лежал в постели без всяких признаков улучшения, мать сильно поседела. Но все-таки война-то окончилась. Мать смогла взять больного сына домой, чтобы ухаживать за ним; Синтаро был освобожден от перекличек, команд, наказаний, чего невозможно было избежать даже в госпитале. Домик в Кугуинума, который им сдал дядя со стороны матери, и по расположению, и по удобствам был намного лучше их токийского жилья, сгоревшего во время войны. Мать чинила и штопала одежду на веранде, залитой зимним солнцем, а рядом с ней лежал больной сын, которые смотрел в сад и думал, когда же наконец пустит молодые побеги трава с коричневатыми корня-

ми. Они вели беззаботную мирную жизнь, надеясь, что так будет вечно. И даже когда пришла телеграмма: «Приезжаю завтра», они восприняли это так, будто должны встретить мужа и отца, возвращающегося из туристской поездки. И лишь на следующий день, выйдя в прихожую и встретившись с отцом, Синтаро только и нашелся, что сказать: «О-о», и, застенчиво потупившись, увидел, как отец неумело стягивает плотно облегающие ноги офицерские сапоги, и испытал при этом непонятное волнение.

Впервые за десять лет Синтаро жил под одной крышей с отцом, который с начала японо-китайской войны почти все время находился за границей. Синтаро это казалось странным. Он воспринимал его не как отца, а как дальнего родственника. И ему все время казалось, будто этот дальний их родственник, который направляется в Токио, лишь ненадолго заехал к ним по пути. Время шло, а ощущение это все крепло в нем, больше того, его не покидала мысль, что гость слишком уж зажился. Когда они втроем садились обедать, мать и Синтаро, не сговариваясь, объединялись против отца. Опорожнив вторую миску, отец, задумчиво качая головой, поглядывал на них украдкой и, будто говоря сам с собой, бормотал: «Еще бы рыбки с овощами...» Но тут же, точно стесняясь протянутой руки, отдергивал ее назад. Синтаро не был уже так молод, чтобы бравадить непочтением к родителям. Но и не обладал необходимым лукавством, чтобы в ответ на спектакль, устроенный отцом, сказать ему: «Отец, ты же ничего постыдного не совершаешь». А в результате и отец и сын погружались в тягостное молчание... Синтаро никак не мог решить, как ему обращаться к отцу. Раньше он называл его «папа». Но он был тогда совсем еще маленьким. Как было бы прекрасно, если бы они смогли называть друг друга «отец», «сын», думал он, но из этого ничего не вышло. Он вспомнил, что в говоре Тоса* есть слово «папаша», и решил обращаться к отцу именно так. Это случилось примерно через месяц после того, как началась их совмест-

* Тоса — старинное название префектуры Коти.

ная жизнь. Как обычно, они сидели втроем за тягостным ужином, и Синтаро по какому-то пустяковому поводу стал придирается к матери. Вдруг отец бросил в него палочки для еды:

— Как ты разговариваешь с матерью!

Неожиданный окрик отца стал для Синтаро спасительным. Его оказалось достаточно, чтобы он повел себя по-сыновнему, хотя называть отца папашей он теперь уже не решился.

Поражение Японии в войне для Синтаро и матери началось с возвращения отца. До этого они считали, правда без всяких оснований, что смогут и дальше прожить на жалованье отца. Действительно, пока отец не вернулся, им, как семье фронтовика, выплачивалось пособие, и они привыкли, что каждый месяц откуда-то получают определенную сумму, — так продолжалось и после войны. Но теперь это кончилось, время шло, и они начали понимать, что ошиблись и возлагать какие-либо надежды на отца бессмысленно.

Целые дни он проводил в саду. Домой заходил только поесть и сразу снова, чуть не бегом, спешил в сад, а возвращался, когда становилось совсем темно, что он там делал — неизвестно. Даже в дождь он куда-то уходил, и их единственный плащ быстро истрепался.

— Отец, чем ты собираешься заняться? — спрашивала иногда мать. Но ответа так и не дождалась.

Синтаро делал переводы для модных журналов, но гонорара за эту работу, которую он делал, лежа дома, хватало лишь на то, чтобы купить выдававшиеся по талонам продукты; никаких других доходов у них не было.

За три-четыре месяца все, что было ценного в доме, они продали и проели, а отец по-прежнему весь день с утра до вечера проводил в саду, перекапывал газон, превращая его в игрушечное, величиной с клумбу, поле, с которого, видно, надеялся собирать урожай. Их общие трапезы были по-прежнему тягостными. Отец теперь уже без всякого стеснения по несколько раз протягивал свою миску, и тогда мать изобрела такой способ — точно горничная в дешевом пансионе, когда

имеет дело с постояльцем, не платящим по счетам: с преувеличенной вежливостью совала ему под нос еду, чтобы он взял добавку, и сразу убирала поднос. А Синтаро повел себя по-другому: чтобы в доме съедалось меньше провизии, он пытался показать пример «экономии риса». Но его демонстрация никакого влияния не оказывала — отец, игнорируя их уловки, начал есть еще больше и продолжал без усталости работать на своем поле, а это было главной причиной его безудержного аппетита. Настал день, когда мать заявила:

— Рис у нас кончился. Бататы тоже. Сегодня будем есть вот что!

И поставила на стол миску с вареной бататовой ботвой, плавающей в какой-то черной жидкости.

— Все ясно,— сказал отец.— Съезжу-ка я в мою родную деревню Я. и поговорю там, как нам быть дальше. Чтобы прокормиться год, нам на троих нужно три коку* риса. Столько-то я как-нибудь добуду.

С момента возвращения это были первые слова отца, достойные главы семьи. Дом отца в деревне Я. был совсем старый, он простоял более двухсот лет, но в нем было сколько угодно свободных комнат, а поле, хоть и урезанное после земельной реформы, достаточно большое — во всяком случае, крохотный клочок земли в саду не шел с ним ни в какое сравнение. Предполагалось, что отец сможет найти там работу как ветеринарный врач. Почему-то и мать именно на это возлагала самые большие надежды, хотя сама говорила Синтаро, что ненавидит профессию отца и стыдится ее.

— Быть ветеринаром в деревне — дело очень выгодное. Крестьяне пекутся о коровах и лошадях больше, чем о людях. И когда скотина заболевает, за сотню ри** приходят к ветеринару с рисом и моти***,— говорила она.

...Но не прошло и двух недель, как все их надежды развеялись в прах. Вернулся отец с корзиной, в которой сидела одна-

* Одно коку — около 150 кг.

** Одно ри — около 4 км.

*** Моти — рисовые лепешки.

единственная курица, и стал рассказывать, как был набит поезд, в котором он ехал, но ни словом не обмолвился, что же произошло в его родной деревне. Да, ужасная была дорога. В уборную и то не мог сходить, чтобы не потерять места. Люди устраивались даже на багажных сетках. Некоторые пытались усесться на плечи, на головы сидящих. Ребенок, которого мать держала на руках, чуть не задохнулся, говорил отец, снимая белый летний пиджак, на котором отпечатались чьи-то подошвы. Вид у него был затравленный. Но Синтаро и мать больше, чем рассказ отца, потрясло то, что курица, которую он осторожно вынул из корзины, с громким кудахтаньем слетела с веранды в сад. А в корзине оказалось теплое еще яйцо.

На следующий день отец с головой ушел в строительство курятника в дальнем углу сада. Сначала он решил использовать в качестве материала дрова, которые мы получали по талонам, а потом накупил толстых досок и соорудил не курятник, а величественное строение, напоминавшее бревенчатую хижину Линкольна, какой она изображена на картинке в детской книжке. Стоя у готового курятника, Синтаро перешептывался с матерью:

— Неужели отец хочет до отказа наполнить его курами? Не собирается же он и сам поселиться здесь вместе с ними? Что-то неладно выходит.

— И правда, зачем такой огромный курятник? Я думаю, он там, в деревне, поругался с братом.

...Сколько уж дней прошло после его возвращения, но каждый раз, когда его спрашивали о деревне, он, точно школьник, забывший урок, говорил лишь: «Ну, это...»— и, рыская по сторонам глазами, сразу умолкал. Когда на строительстве курятника выдавался перерыв, он внимательно наблюдал за тем, как курица, привязанная за лапку, точно собака на цепи, разрывала землю, выискивая корм. В такие минуты глаза его становились похожими на куриные. Птица, прибывшая живой из Тоса в переполненном поезде, да еще в тесной корзине, совсем уже свылась с новым домом и раз в три дня несла на газоне в саду яйцо, но на следующее утро после того,

как был закончен курятник, отец нашел ее там мертвой. На шею остались следы кошачьих когтей, и она была вся в крови. Он долго стоял в курятнике, прижав к груди окоченевшее тельце, а потом наконец начал ощипывать курицу в дальнем конце сада, у колодца.

...Если уж говорить о безумии, то его ростки можно было заметить не у матери, а скорей у отца. Во всяком случае — в то время. Мать еще была совершенно здоровой. Но основная причина, разрушившая в конце концов ее здоровье, появилась именно тогда...

По ночам Синтаро стал часто просыпаться от громких споров отца с матерью — они спали в гостиной через коридор от его комнаты. Высокий голос матери походил на плач. Сливавшийся с ним низкий голос отца почему-то казался зловещим. Так продолжалось много ночей подряд, но в одну из них его не разбудили резкие голоса отца и матери. Наутро Синтаро обнаружил, что они спали в разных комнатах. В гостиной была, как обычно, расстелена постель отца, а в столовой дохлой змеей лежало скатанное одеяло, которым укрывалась мать. В нем еще таилось ее тепло, и Синтаро с трудом заставил себя отвернуться от него. Именно с тех пор он стал ощущать отчужденность матери. Особенно остро она проявлялась в то время, когда он лежал днем, а она с отсутствующим выражением лица молча сидела у его изголовья. Мать, разумеется, делала это по привычке, неосознанно, но он чувствовал в ней женщину, хотя она вряд ли стремилась вызвать у него такое чувство. Он представлял себе, как ее располневшая, расплывшаяся фигура, подобно жидкости из треснувшего сосуда, в какой-то миг неожиданно растечется в нечто бесформенное. Испытывая желание прижаться щекой к одеялу, еще хранящему материнское тепло, Синтаро заставил себя отвернуться и посмотреть в сад. Увидав там отца, который то взмахивал мотыгой, подрезая траву, то вдруг замирал и грустно смотрел на опустевший курятник, он понял, что теперь всегда будет сторониться его...

Гибель курицы не заставила отца отказаться от своего плана.

В тот год зимой пришло письмо от дяди, в котором он просил освободить дом. Как-никак он принадлежал ему. Дом потребовался под общежитие для рабочих завода, где он был управляющим. Письмо пришло вскоре после того, как продали землю в Сэтагая, где стоял их сгоревший дом. Они совсем уж решили переселиться в Коти. Но не были уверены, что на родине отца их приютят. Вернувшись с одной-единственной курицей, отец ни словом не обмолвился, что там произошло, — из этого можно было заключить, что на помощь родни надеяться не приходится. Так что ехать в общем-то было некуда. В таком примерно смысле мать и ответила дяде. Она написала, что они не уверены, примут ли их в Коти, к тому же Синтаро болен и перевозить его нельзя, — не согласится ли дядя оставить их в доме хотя бы до того времени, пока Синтаро сможет вынести переезд? Мать не лгала. Но помимо всего прочего, ей была невыносима мысль вернуться в деревню Я. Такой уж была мать. Вот почему она охотно согласилась с отцом, когда тот сказал ей:

— Может, попробовать нам еще разок завести кур?

Решили как-нибудь наскрести денег и немедленно купить кур. Теперь на этом настаивала мать, где-то раздобыв полезные сведения о преимуществах, которые получит тогда их семья. ...По новому закону, если съемщик добывает себе средства к существованию, используя снятый дом, домовладелец не вправе выселить его. Кроме того, выяснила она, участок, на котором стоит дом, считается землей, используемой для сельскохозяйственных работ. Поэтому точно так же, как арендаторам передана государством обрабатываемая ими земля и отнять ее у них никто не вправе, так и их семье нечего опасаться выселения, если они будут держать в саду кур.

— Тин же, мой братец, думал, я ничего не знаю, и решил выгнать нас. Послушайся мы его, хлебнули бы горя, — говорила мать, возбужденная полученными ею откуда-то сведениями.

Купить, как задумано было, много кур у окрестных крестьян оказалось невозможным, и отец с матерью отправились в

префектуру Ибараки, где жил один из бывших подчиненных отца. Чтобы отец с матерью вместе покидали дом — такого еще не бывало с тех пор, как отец перестал уезжать из Японии.

Никто из них не подумал, насколько безумен этот план, только потому, что каждый представлял его по-своему. Мать решила завести кур, чтобы остаться жить в Кугуинума, для отца разведение кур было целью жизни. А Синтаро относился безразлично и к тому, и к другому. Ему казались комичными фигуры выходящих из дому стариков родителей с большими и маленькими корзинами в руках и за спиной, но при этом он почему-то испытывал безотчетное беспокойство. Он лежал, укутавшись с головой в жаркое одеяло, и упорно обдумывал способ самоубийства, хотя совершать его не собирался.

Отец с матерью вернулись через два дня поздно вечером. Увешанные корзинами с курами, они выглядели хуже некуда. Истратив все деньги, привезли двадцать кур. Их занимало одно — купить побольше кур, а как повезут их домой — и не подумали... Вся их одежда — и военная форма отца, и шаровары матери — была в курином помете, руки и ноги исцарапаны.

— Воды, воды!.. — закричал отец, не успев переступить порог.

Извлеченных из корзин кур нужно было срочно напоить. Мать, ставив с плеч корзины, молча повалилась на пол и осталась лежать неподвижно. Куры и те были для них непомерной тяжестью, а ведь пришлось тащить еще и корм. Назавтра, еле поднявшись около полудня, мать без конца рассказывала, сколько трудностей они преодолели, пока добрались наконец до дому, — скрывались от экономической полиции, гонялись за курами, которые ломали корзины и вырывались на волю, пересаживались с парома на поезд, с поезда на электричку. И по изможденным лицам отца и матери Синтаро понял, какие тяготы им пришлось вынести в пути. Позже они убедились, насколько безумным был их план.

Пока не закончилось оборудование курятника, привезенных кур поместили под верандой, где была натянута металлическая сетка. По дороге две курицы подошли, на следующий день

после приезда подохла еще одна, и осталось семнадцать — главной ошибкой было то, что отец с матерью не подумали о расходах на корм. По расчетам отца, росших в саду бататов и кухонных отходов должно было вполне хватить, но на деле все оказалось не так. Даже самый точный расчет рациона на одну курицу при умножении на семнадцать оказался неточным, еды не хватало, чтобы прокормить всех кур. В страшной тесноте под верандой куры непрерывно дрались из-за корма, и половина его вылетала за сетку и пропадала. Кроме того, кухонные отходы могли компенсировать недостаток белков для одной курицы, для семнадцати же потребовалось бы семнадцать кухонь. Таким образом, большая часть денег, вырученных за проданную землю, сразу ушла на корм. Вторым просчетом было то, что куры не неслись. В конце осени — начале зимы, когда заменяют поголовье кур, несутся лишь те, которые родились в нынешнем году или наиболее ухоженные. Но крестьяне продали отцу и матери лишь старых кур или уж совсем никудышных — это было видно с первого взгляда.

Теперь мать стала относиться к курам враждебно. И еще сильнее возненавидела отца. Она вбила себе в голову, что он завел кур, обманув ее. Он якобы решил разводить их ради собственного удовольствия и подбил ее купить кур, хотя с самого начала знал, что ничего, кроме убытков, это им не принесет, твердила она.

— Ходит вечно с постным невинным видом, а сам делает все что ему заблагорассудится. И лицо при этом такое, будто ему невдомек, как страдают окружающие.

...Куры под верандой беспрерывно дрались. Сначала предполагалось — от нехватки корма, но оказалось, они дерутся без всякой причины, не утихая ни на минуту. Самую хилую били все остальные. Когда ей удавалось вырваться, начиналась погоня за другой слабой курицей. Иногда птица, бывшая еще вчера самой сильной, вдруг начинала хромать и тут же становилась объектом нападения, у нее выдирали перья, раздирали гребень, и она уже не могла подняться с земли. Грустно было слушать, как курица, на которую налетали со страшным гомоном, душеразди-

рающе кудахта, носилась внизу, ударяясь об пол веранды.

И, точно в ответ на ее кудахтанье, принималась кричать мать:

— Это ужасно, ужасно! Отец, посмотри, что там делается. Да у тебя самого лицо теперь, как у курицы!

Иногда это случалось за едой, и отец, широко раскрыв испуганные карие глаза, с жадностью ел кукурузный хлеб — и впрямь похожий на давящуюся кормом курицу.

Стоя у каменной ограды, Синтаро смотрел на море. Долго еще он стоял там. Даже после того, как зашло солнце. ...Темное море вспухало тяжелыми валами, вокруг была разлита свежесть. Синтаро стало зябко. Стоило шевельнуть рукой или ногой, как под одежду сразу же забирался холодный воздух, пронизывая до костей. Он устал оттого, что долго стоял не шевелясь. Отсутствие людей действовало угнетающе.

Еще недавно здесь были пациенты лечебницы. С одной из них Синтаро разговорился. Не считая матери, он в первый раз беседовал со здешней больной. Зная, что она ненормальная. Но их разговор был самым обычным, и он даже не осознал, что ведет его впервые. Если уж говорить о необычности, то необычной была его непринужденность.

Произошло это так: выкурив сигарету, Синтаро собирался бросить окурки в море. И тут к нему подбежала женщина, только что оживленно разговаривавшая со своими подругами.

— Не бросайте, дайте мне.

Синтаро опешил. Голос, несомненно молодой, никак не вязался с ее внешностью. Дочерна загоревшее улыбочивое лицо должно было принадлежать женщине лет сорока, а голос — двадцатилетней. Рваная бесформенная одежда была подпоясана красным шнурком. Синтаро бросил в море окурки и предложил ей взять новую сигарету.

— Не надо,— сказала она, переводя взгляд с сигареты на Синтаро.— Не надо. Я не курю. Хотела дать одному человеку.

Было ясно, что она говорит неправду.

— Все равно возьмите. Одну для того человека, а другую

выкурите сами,— сказал он, после чего она протянула руку к пачке.

Синтаро зажег спичку, и она прикурила, закрывая огонь ладонями. Затянувшись, женщина со смехом обернулась к своим приятельницам, а потом спросила, кого он приехал навестить. И когда Синтаро сказал, что мать, она стала задавать новые вопросы.

— А кто ваша матушка?

Синтаро назвал имя.

— Понятно, Хамагути-сан,— лицо ее стало глубокомысленным.— Хамагути-сан, она очень хороший человек. Очень хороший человек,— повторила женщина.

Синтаро рассмеялся. Ему следовало помнить, что она ненормальная. Женщина покраснела и затараторила:

— Она очень хороший человек, очень хороший человек. Если бы не была хорошим человеком, я бы не говорила, что хороший человек. И потому, что хороший человек, я ей стираю. ...Как жалко ее, взаправду жалко. Умрет она. Я не перенесу.

Сказав это, женщина с двумя сигаретами в руке — одну она еще курила — побежала к подругам.

Женщина напомнила Синтаро то время, когда он служил в армии. Она принадлежала к типу людей, которых всегда можно встретить в любом коллективе. Добрый с виду солдат второго года службы на все лады заботится о тебе,— глядь, из твоего мешка пропадают вещички. Наверно, эта женщина обучала мать порядкам, принятым в лечебнице, очень важным здесь житейским премудростям. Когда попадаешь в новую обстановку, незнание мелочей чревато множеством неприятностей. И очень хорошо, что рядом с ней оказалась такая женщина. Но стоило представить себе мать, поющую по вечерам вместе с остальными здешними больными, и ему стало невыносимо горько.

Мать очень любила петь. Даже после того, как ее поместили в лечебницу, даже забыв обо всем, что было в прошлом, она до самого последнего времени пела длинные грустные песни. «Ребенку неведомо горе, которое он причиняет; когда он

капризничает, его баюкают, но прошлого он не помнит. Весной дождь стучит по навесу, осенью — в саду роса, а ему невдомек, что мать молится о нем и глаза ее не просыхают» — вот такую песню она пела. Это была, так сказать, ее главная песня. Она, бывало, пела ее с утра до вечера. Конечно, она делала это по привычке, бессознательно. И именно потому, что бессознательно, Синтаро еще острее ощущал, как трудно ей подавлять свои чувства. Возможно, из-за этого ее постоянного стремления подавлять свои чувства детское сердце Синтаро испытывало потребность задавать вопросы: что я значу для матери? Что такое мать и что такое сын? ...И вот, подумал он, только что душевнобольная, выклянчившая у него сигареты, неожиданно помогла понять чувства матери. Мать и ребенка связывает некая привычка. Но в этой привычке есть свое особое содержание. Услыхав низкий гудок плывущего по морю судна, Синтаро вернулся в комнату, где провел прошлую ночь.

На следующий день, как и накануне, он проснулся от проникших в комнату ярких солнечных лучей. И так же, как вчера, дремал, пока не принесли завтрак. Но в отличие от вчерашнего, он был спокоен и понял, что постепенно осваивается с обстановкой. С завтраком вместо бледного санитаря в комнате появилась невысокая женщина в переднике, лет пятидесяти. Расставляя еду, она поинтересовалась самочувствием матери. Синтаро произнес что-то неопределенное, и она сказала:

— Жаль ее, она такая хорошая.

Женщина рассказала, что до недавнего времени сама была пациенткой этой лечебницы.

— О-о,— Синкити внимательно посмотрел на нее.— И совсем поправились?

Женщина ответила, что да, поправилась и вернулась домой, но делать ей там совсем нечего, и она приходит сюда, в лечебницу, помогать. Живет она в К. и раньше содержала небольшой ресторанчик, но пока находилась в лечебнице, его продали. Разговаривая, женщина все время поглаживала волосы и смотрела на море за окном. Во всем ее поведении ощущались

сохранившиеся привычки хозяйки ресторана. Косметикой для лица она не пользовалась, но волосы были напомажены, и этот запах, казалось, проник даже в коробку с рисом и миску с супом из мисо. Однако отца женщина явно заинтересовала, и он стал выискивать темы для разговора. Есть ли у нее дети? Что она больше всего любит из еды?— спрашивал он.

— Раньше я терпеть не мог вареное. А на фронте поел солдатской пищи и теперь что хочешь съем.

— Вы были на фронте? Простым солдатом?— заинтересовалась женщина.— Да, тяжело вам пришлось. У меня погиб двоюродный брат, ефрейтором был,— рассказывала она, по-прежнему не отрывая глаз от окна.

— Наверно, в Маньчжурии? Когда он погиб?— спросил отец, сжав губы и с интересом глянув на женщину.

Однако она, казалось, забыла о разговоре. Или, может быть, не понимала, о чем говорил заикавшийся Синкити.

Синкити все считали добрым человеком. И родные, и сослуживцы, и подчиненные, и университетские приятели. Казалось, он и живет-то на свете лишь ради того, чтобы поддерживать эту репутацию. Никаких других отличительных черт у него не было. Даже на действительной службе он выглядел отставным офицером, надевшим форму. Сейчас никому бы в голову не пришло, что когда-то он был кадровым военным. Да и вообще никаких профессиональных черт заметить в нем было невозможно. Глядя, как он садится у порога на лошадь, чтобы ехать на службу, мать говорила:

— Ну можно ли так? Он не садится на лошадь, а вползает на нее. Увидит кто-нибудь — позора не оберешься. И зачем этот увалень стал военным? Ему бы монахом быть в самый раз.

Однако по мере того, как фронт на материке разрастался, мнение матери о нем изменилось:

— Раз уж он военный, ему под силу заниматься всем, что доступно обычным людям. Эх, будь он в какой-нибудь фирме — он бы там спокойно рядовым служащим доработал до пенсии.

Синтаро не знал, справедливо ли мнение матери об отце. Из ее слов он лишь уловил, что таких, как отец, люди не любят, а

женщины и вовсе ни во что не ставят. И сейчас, глядя на женщину, которая, не отвечая отцу, стоит, повернувшись к окну, и источает запах напомаженных волос, он вспомнил слова матери. Утерев нить разговора, отец некоторое время растерянно смотрел на женщину, потом глаза его затуманились и, отказавшись от своей затеи, он склонился над коробкой с рисом и стал есть. Отец выглядел отвергнутым самцом, а полноватая пятидесятилетняя женщина — холодной самкой...

Как и вчера, у Синтаро не было ни малейшего аппетита. Но он считал, что обязан съесть стоявшую перед ним пищу. Почему обязан? Потому ли, что рис в коробке пах металлом и жидкостью для волос? Или оттого, что такие же коробки стояли на полу в коридоре лечебницы и по одной задвигались в отверстия в нижней части дверей? А может быть, просто потому, что ему надо было отвести глаза от отца и женщины? Во всяком случае, понимая, что есть он должен, Синтаро съел без остатка и рис, и суп из мисо, и рыбу. Поев, он почувствовал лишь тяжесть в желудке — еда ни от чего его не спасла.

Стало жарко, будто наступил полдень. Наверно, над постелью матери уже кружат большие жирные мухи. Вспомнив, с какой удивительной энергией отгонял он от матери этих мух, Синтаро отправился в ее палату, оставив в комнате доедавшего рис отца и женщину, ожидавшуюся, пока тот поест, чтобы убрать посуду.

Когда он подошел к двери, ведущей в ту часть здания, где находились палаты тяжелобольных, рядом с ним вырос тот же самый мужчина с забинтованной шеей. Он еще вчера почему-то произвел на Синтаро неприятное впечатление. Может, из-за забинтованной шеи, но скорее всего потому, что его полуседы, коротко стриженные волосы, дряблые, обвислые щеки выдавали в нем человека сильного и в то же время нервного. Подобные лица часто бывали у прапорщиков жандармерии. Такой никому не сделает замечания, но зато потом даст оценку каждому и аккуратно занесет в блокнот... Мужчина внимательно посмотрел на Синтаро, нахмурился и покачал головой. Непонятно, что это должно было означать, но церемониться с ним особой

необходимости нет, подумал Синтаро и, пройдя мимо него, направился в палату матери. Ей как раз меняли простынки на чистые. Это почему-то подействовало на Синтаро умиротворяюще. Вынося использованные простынки, санитар сказал с улыбкой:

— Доброе утро.

Из двери напротив высунулась женщина, просившая вчера сигарету, взяла простынку и побежала к колодцу. Синтаро засмеялся. И подумал: наверно, лицо мужчины с забинтованной шеей выражало лишь замешательство. Но в следующее мгновение, посмотрев через дверь на мать, он снова вернулся к прежней мысли: непонятно, что все-таки выражало лицо мужчины с забинтованной шеей? Мать, почти обнаженная, лежала на полу, лицом к двери, и широко открытыми глазами смотрела на Синтаро.

— Подождите немного, пока мы управимся с пролежнями,— послышался сзади, словно посланный вдогонку, голос санитаря. И тут же Синтаро рассмотрел в палате темные фигуры врача и сестры. И понял, как сильно, оказывается, он взволнован. ... Металлическая дверь напротив была полуоткрыта, и через нее виднелся кусочек двора. Он увидел неправдоподобно далеко, будто смотрел в перевернутый бинокль, крохотные фигуры больных, которые, столпившись у колодца, работали насосом.

— Зайдите лучше с другой стороны,— снова послышался голос из палаты. Синтаро, хотя это относилось явно не к нему, не отдавая себе отчета в том, что он делает, приблизился к двери.

Мать лежала на полу. Лицо ее по-прежнему было повернуто к двери. Она страшно исхудала, каждый раз, когда врач огромным пинцетом вынимал тампоны из ран, спина ее сильно вздрагивала. Пролежни были на ягодицах и на левом плече, особенно большая рана — на левой ягодице.

— Какие ужасные пролежни,— пробормотал врач, вытаскивая пинцетом тяжело свисавшую вниз окровавленную марлю — таким движением обычно достают из миски лапшу. Под ней в ране оказался еще один тампон.— Такие огромные пролежни

образовались потому, что сердце уже не справляется с нагрузкой. А в этих случаях кровь больше не поступает в части тела, прижатые к постели, и они начинают разлагаться, как лежалые фрукты. Стоит в каком-то месте образоваться пролежню, значит, он появится и в другом.— Все это объяснял Синтаро врач, меняя тампоны.

— Ой, больно!

Этот короткий крик вдруг раздался в промежутке между тяжелыми вздохами, когда ее поворачивали на спину. Это были первые ее слова, услышанные Синтаро с тех пор, как он приехал в лечебницу.

— Что случилось? — спросил врач, будто обращался к только что проснувшемуся ребенку, и повернулся к Синтаро.— Кажется, пришла в сознание. И пытается что-то сказать, а?

Синтаро молчал. Он не знал, что ответить, и, опустившись на колени, наклонился над матерью. На мгновение он растерялся, как вышедший на трибуну человек, у которого от шума в зале начинают путаться мысли. Открытые, полные слез глаза матери были устремлены в потолок, и слезы капельками стекали по сухим пергаментным вискам.

— Прежде всего нужно снова уложить ее в постель,— сказал врач нетерпеливо.

Получив распоряжение, сестра встала, чтобы поддержать мать. Тут произошло непонятное. В глазах у матери вдруг появились волнение и страх. Сестра, не замечая этого, протянула к ней руки и взяла за исхудалые плечи. Они напряглись и задрожали.

— Больно же, больно!..— не замолкая кричала мать.

Так продолжалось до тех пор, пока на упругом матрасе боль от пролежней не утихла. Грудь ее вздымалась, она тяжело дышала. Сестра сказала Синтаро, чтобы тот взял мать за руку. Он послушно подчинился. Бледный санитар, как и в первый вечер, стал взывать к матери:

— Хамагути-сан, Хамагути-сан, это ваш сын. Вас держит за руку сын.

Однако мать в промежутках между тяжелыми вздохами лишь повторяла:

— Больно, больно.

Ощущая в своей ладони неправдоподобно маленькую, мягкую, изборожденную морщинками ладонь матери, Синтаро все время старался что-то вспомнить. Воспоминание вот-вот должно было оформиться, но голос санитаря снова спутал его мысли.

— Это ваш сын, ваш сын...

Мать задышала спокойнее. Она закрыла глаза. В коридоре послышались шаги — в палате появился отец и сел у изголовья постели. Тут-то все и случилось. Мать, которая, словно погружаясь в сон, все тише и тише шептала: «Больно... больно...», вдруг еле слышно произнесла хриплым голосом:

— Отец...

Синтаро почудилось, будто из его ладони, сжимающей руку матери, что-то выпало. Отец со своей обычной улыбкой смотрел на лицо жены, слушая ее спокойное сонное дыхание.

В палате становилось жарко. Окно, выходящее на улицу, сияло, по дощатому полу протянулись солнечные лучи. Синтаро сидел на полу, опершись спиной о стену, и неотрывно смотрел на противоположную... Во всех палатах лечебницы стены были окрашены в светло-зеленый цвет. Того же цвета были оконные переплеты, решетки и сетки. Конечно, здесь исходили из убеждения, что зеленый цвет успокаивает. Краска накладывалась слоями — один на другой, кое-где она вспучилась, местами виднелись следы кисти. Там, где краска лежала толстым слоем, она выцвела и утратила блеск, но в отдельных местах, наоборот, лоснилась, точно смоченная водой. А в появлении желтоватого оттенка, наверно, было повинно бьющее в окно солнце. Сантиметрах в тридцати и выше — в метре от пола — по стенам шли две грязные полосы, будто специально задуманный рисунок, — должно быть, именно этих мест чаще всего касались руки и тела побывавших здесь больных. Сколько же времени и какое множество рук понадобилось, чтобы на краске отпечатались грязь и жир.

Если ежедневно подолгу сидеть, прислонившись к стене, ощущение ее толщины само собой передается спине. Песок, гравий, металлические прутья, проникая сквозь гладкую поверх-

ность цемента, заставляют лопатки ощущать массивность стены. ...Синтаро казалось, будто с тех пор, как он приехал в лечебницу, прошло уже больше полугода. Но стоило лишь прислониться к стене, как поступавшее в ответ ощущение неприступности сразу же напоминало ему — нет, он приехал сюда только вчера. Хотя верно и другое — сегодня, и вчера, и позавчера, и еще раньше в палате все оставалось неизменным. Рядом с коленями Синтаро, раскрыв рот, спала мать, в палате висел раздражающий кисло-сладкий запах, а из соседней палаты птичьим пением то и дело доносилось:

— Сестра, сестра, я заждалась, я заждалась. Еды, еды, я заждалась. Сестра...

Еще вчера он решил завесить окно от солнца. И не только потому, что от проникающих в палату ярких лучей делалось нестерпимо жарко, — видеть, что творится в глубине открытого рта спящей матери, было выше его сил. Рот ее открыт много часов подряд, язык, и нёбо, и горло пересохли и потрескались, внутри скопились пожелтевшая слюна и слизь — сестра все время пыталась удалить их ватой, смоченной в воде, но ничего не получалось. Благодаря встретившейся по дороге женщине средних лет Синтаро именно вчера решил купить бамбуковую штору.

Это случилось как раз там, где вишневая аллея резко спускалась вниз. В том месте, где она переваливала через гребень горы, подковой окружавшей лечебницу, Синтаро увидел задумчиво стоявшую женщину с черным зонтом. Хотя солнце нещадно палило, она не открывала зонта, а опиралась на него, как на трость, да и сама фигура ее в узкой юбке была похожа на палку. Синтаро попытался угадать, что она здесь делает. Скорее всего, положила в лечебницу кого-то из близких и теперь возвращается домой.

Почему-то ему не хотелось встречаться с женщиной. Наверно, от страха, что она заговорит с ним. Но и поворачивать обратно было обидно. Синтаро впервые за последние дни дышал не больничным воздухом. Запах листвы, запах моря, запах земли — как они упоительны; обливающие тело лучи солнца —

какой свежестью веет от них. И, если отвлечься от происходящего с матерью, ощущение такое, словно находишься на увеселительной прогулке... Однако женщина, будто нарочно дождавшись Синтаро, сразу заговорила с ним. Она спросила, выйдет ли по этой дороге к автобусу до К. Синтаро ответил, что выйдет, и она, переступая с ноги на ногу, точно утрамбовывая землю, сообщила, что поместила в лечебницу дочь.

— Все время плачет. Ужасно плачет. В этом-то и состоит ее болезнь.

— Ученики, впервые попав в школьное общежитие, всегда плачут,— повторил Синтаро слова санитаря, сказанные им в тот день, когда в прошлом году они клали мать в лечебницу.

— Сейчас-то ничего, ей сделали укол, и она спит. А по ночам плачет. Каждую ночь...

Пять лет назад ее дочь потеряла зрение. И с тех пор, впад в депрессию, непрерывно плачет. Синтаро старался слушать ее внимательно. Но чем внимательнее он вслушивался в ее слова, тем больше рассказ ее казался ему почему-то малоубедительным. Может быть, потому, что она избегала говорить о печальных обстоятельствах, вызвавших болезнь дочери. Высказав все, что ей очень хотелось сказать, женщина приободрилась и энергично зашагала по дороге. На ее загорелом лбу выступили капельки пота, она учащенно дышала.

Дочь ее, которой в этом году исполнилось семнадцать, поместили в палату рядом с комнатой, где ночуют Синтаро с отцом.

— Где это мы? Я здесь никого не знаю. Где же мы все-таки?

Вчера вечером, после ужина, он слышал этот шепот, а потом, как и говорила мать девушки, раздался плач. Сначала тихий, потом все громче и громче... Но через некоторое время он превратился как бы в доносившееся издали монотонное журчание ручья.

На закате в палату стали проникать яркие лучи солнца. Синтаро встал и начал прилаживать к окну бамбуковую штору. ...Нужно привязать ее прямо к металлической решетке.

Вчера, как он ни бился, это ему не удалось, а ничего другого придумать было невозможно. Вертикально вставленные в бетон оконного проема металлические прутья были круглые и гладкие, да к тому же, когда он с трудом дотягивался до верха окна, пальцы теряли силу, веревка еле затягивалась в узел, сразу ослабевала, и штора под собственной тяжестью сползала вниз. Так повторялось много раз. Но наконец совершенно случайно чуть покосившаяся штора, опустившись на треть окна, застряла между прутьями; Синтаро решил оставить ее в таком положении. ...Все-таки в комнате стало значительно темнее. Теперь свет, проникавший сквозь овальное отверстие шириной в две ладони, падал спящей матери на грудь, и лицо ее оставалось в полумраке. Но, когда Синтаро вернулся на свое место, оттого что окно теперь было завешено, кисло-сладкий запах — возможно, ему это только казалось — стал еще назойливее.

Действительно, ужасный запах. Нет, не трупный запах, а причудливая смесь запахов кошачьей мочи, гнилого лука и вареной рыбьей требухи. Сначала Синтаро подумал, что это вонь, характерная для любой твари (будь то животное или человек), заключенной в клетку. Но теперь понял: источник запаха — препараты, применяемые при лечении пролежней. ...Вдыхая этот невыносимый запах, Синтаро вспоминал мокрую, впитавшую гной марлю, которую врач вынимал из пролежней. И тут же в его памяти всплыл голос матери, прошептавшей: «Отец». Это было настолько удивительно, что казалось нереальным. Синтаро удручался, но в то же время испытывал успокоение. Ведь благодаря одному этому слову с плеч матери, должно быть, свалился груз, который она несла на протяжении тридцати лет. Слова матери его нисколько не взволновали. Он испытал лишь удивление. Ему показалось тогда, что бледный санитар пристально взглянул на него и его рот искривился улыбкой. Все находившиеся в палате молчали. Сестра по-женски растроганно посмотрела на стариков супругов. Вслед за ней и Синтаро стал переводить взгляд с отца на мать. Мать обратила невидя-

щие глаза к мужу. Отец, потупившись, улыбался. У обоих лица казались загорелыми. Очень трогательная получилась картина. Морщины у рта отца — возможно, так падал свет — казались блестящими; глаза матери, пролившие слезы, стали красными. Вот-вот должен был раздаться вздох. Но вместо этого кто-то вдруг громко чихнул. Врач. Достав из-под халата хрустящий носовой платок, он высморкался и повелительно произнес:

— Пошли.

Пригнувшись, он переступил через порог и, широко шагая, вышел из палаты. В комнате сразу же началось движение — санитар и сестра в замешательстве бросились вслед за врачом. ...Синтаро растерялся, не зная, как быть. Случившееся казалось ему необъяснимым. Или, вернее сказать, из-за жары и усталости у него пропало всякое стремление «понять», и он погрузился в атмосферу безотчетной тревоги. Действительно, уж не нарочно ли врач так громко чихнул? В теперешних обстоятельствах возможно все что угодно. У врача, в одиночку ведущего это огромное отделение, нет времени долго оставаться в палате — это так, но вполне можно представить себе и его нежелание участвовать в этой весьма трогательной сцене между пациенткой и ее семьей. Наверно, и в самом деле в этой сцене были сентиментальные моменты, способные вызвать антипатию обитателей лечебницы. Но независимо от этого Синтаро показалось, что врач почему-то испытывает неприязнь к их семье. Он и раньше чувствовал, что тот относится к нему враждебно, но теперь понял — вся их семья представляется ему какой-то странной и подозрительной.

Даже после того как затея с курами провалилась, отец по-прежнему целыми днями пропадал в саду. А мать бралась за любую подвернувшуюся работу. Гладила белье в соседней прачечной; помогала комиссионеру, торговавшему на черном рынке; мыла голову, неуверенно мяла плечи и поясницу клиентам косметолога и массажиста, которому сдала часть дома. Толку от ее работы, разумеется, было мало, и они вели труд-

ную жизнь на краю пропасти. Определенным в их жизни было лишь то, что их выгоняли из дому. ...Дом уже перешел от дяди к другому владельцу. Неожиданно явившись к ним, дядя, улыбаясь во весь рот, представил красномордого человека, это, мол, мой приятель, а сам укатил, оставив его уже как хозяина. Он самыми разными способами добивался, чтобы они убрались из дому. Мать, обогатившись полученными откуда-то новыми сведениями, выработала тактику сопротивления.

— Хм, этаким человек — хозяин дома?! Да нет же, он, конечно, подставное лицо братца. Обычный крючкотвор. Тот решил использовать его — самому-то неудобно сказать нам: убирайтесь! Нет, меня не проведешь — это его обычная манера. Вечно он был хитрованом, — горячилась мать.

Но с тех пор выражение ее лица изменилось. Казалось, вместо прежних ее глаз появились другие, лихорадочно блестящие, все время бегавшие по сторонам — она напоминала скрывающегося преступника.

День шел за днем, будто к одной рваной тряпке пришивали другую, такую же рваную. Выйдя рано утром из дому, мать возвращалась в первом часу ночи последней электричкой, тяжело нагруженная сахарином и адзиномото*, обессиленная, валилась с ног у очага и сразу засыпала. А в доме, лишенном женских рук, царил несусветный беспорядок. Постели никогда не убрались и не высушивались, вытащенные из шкафов вещи валялись на полу, и когда в конце концов весь дом оказался заваленным нижним бельем, носками и всякими другими вещами, их как попало, точно отбросы в мусорный ящик, затолкали в освободившиеся шкафы, и потом пила вдруг обнаруживалась в буфете, а объедки кукурузного хлеба, грязные чашки — в платяном шкафу. Во всех углах с потолка свисала паутина, по комнатам летали куски ваты и пыль, казалось, там стоит туман. И среди этого невообразимого беспорядка отец, подбрасывая в печь сосновые ветки, варил

* Адзиномото — приправа к кушаньям, напоминающая соль.

для кур рыбью требуху и удивительно педантично и аккуратно раскладывал на полке, будто это была полка для обмундирования в казарме, вещи, с которыми приехал с фронта. Дом жил в тяжких повседневных трудах, и будни жизни, причудливо переплетаясь, текли, вселяя в его обитателей тоску и тревогу.

— Неужели вы до конца дней собираетесь вести такую жизнь? Почему вам не вернуться в деревню, родня помогла бы вам устроиться,— спрашивали иногда родственники, с которыми тогда еще не были прерваны отношения.

Но всерьез отвечать на вопрос «почему?» никто из них не собирался. Да и от дяди, брата отца, который владел родительским домом, не было ни слуху ни духу.

«Домовладелец» первое время приезжал каждый месяц и ругался на чем свет стоит. Потом стал появляться раз в два месяца, постепенно время его отсутствия удлинялось, и кончилось тем, что он не показывался по полгода. Приехав однажды, он вдруг от нечего делать заглянул в курятник, после чего уселся на пороге и заявил:

— Нет, мне это уже надоело.

И, пройдясь по дому, уехал.

Примерно через неделю редко заглядывавший в их дом почтальон принес письмо в коричневом конверте. На обратной стороне черными иероглифами было написано: «Районный суд Йокохама». Семье Синкити был предъявлен иск в незаконном владении домом.

Мать изменилась в лице. Изыскивать «новые сведения» было уже поздно. Разумеется, она тут же пошла с кем-то советоваться.

— Это настоящий суд. Значит, по предусмотренной законом процедуре вы должны поручить дело официальному адвокату,— вот и все, что ей сказали.

Поставщик «новых сведений» был заранее предупрежден адвокатом, нанятым дядей. Он сказал, что сам заняться по-настоящему этим делом не сможет, и порекомендовал своего

товарица. К нему-то и отправились Синтаро с матерью.

В тот день у Синтаро немного кружилась голова. Ему все время хотелось присесть на обочине дороги. Впервые за полтора года ему пришлось пользоваться транспортом. Но он обессилел не только из-за болезни. Ему очень не хотелось идти к адвокату. Нет, обычно убеждал он себя, ни за что не хотел бы стать таким, как отец. Но стоило ему представить себе, что нужно отправиться в незнакомый дом в незнакомом месте и встретиться с незнакомым человеком, как он сразу начинал понимать отца, не выносившего отлучек из дома и никуда не ходившего в поисках работы. Мать ужасно перетрусилась из-за того, что в исковом заявлении была названа «ответчиком». Теперь, решила она, вся жизнь ее перечеркнута, и думала даже, что впоследствии ее будут считать «бывшим преступником».

— Ну и пусть. Тюрьма в тысячу раз лучше, чем эта наша жизнь,— говорила она, нервно шагая из угла в угол.

Все адвокаты, по мнению Синтаро, должны быть людьми с круглыми мясистыми лицами. Лишь те из них, кто принадлежал к какой-либо левой партии, как он считал, могли иметь худые бледные лица. Однако мужчина, которого он увидел, когда пришел с матерью в его дом в глухом переулке, уцелевший во время пожара в Сэтагая, оказался почти совсем седым человеком средних лет, с поблекшим лицом,— словом, нисколько не похожим на адвокатов, какими они представлялись Синтаро. Может быть, поэтому Синтаро, усевшись напротив него, испытал облегчение. Комната, обставленная в европейском стиле, куда он провел их, была устлана циновками, там стоял узкий и длинный, похожий на школьный, стол, покрытый коричневой скатертью, за который они и сели — он по одну сторону, Синтаро с матерью — по другую; напротив двери, на книжном шкафу, стояли мраморные настольные часы — они сразу бросались в глаза. Откуда-то проникал неприятный запах дезодоранта для уборной. Глядя на пятна, выступившие на потолке, Синтаро сказал безо всякого умысла:

— Вы жили здесь еще до войны?

— Нет, я поселился тут, у моего брата, после возвращения из Маньчжурии,— сказал адвокат — наверно, ему постоянно задавали этот вопрос.

Синтаро хотел было спросить, много ли народу живет в этом доме, но, вспомнив, сколько стоптанных ботинок валялось в прихожей, решил: ни к чему задавать ненужные вопросы. Молчал и адвокат, нервно поглаживая скатерть пальцами с коротко остриженными ногтями. Мать достала жалобу и протянула адвокату, тот бегло пробежал ее, сложил пополам и бросил на стол. Синтаро сразу приуныл. Дело их проиграно. Он понял это еще до того, как заговорил адвокат.

Мать начала излагать суть дела. Она говорила тихим голосом, потупившись, часто прибегая к околичностям, как это свойственно женщинам. Пальцы адвоката снова забегали по столу.

— Проблема чрезвычайно сложная.

Мать удивленно посмотрела на него. Она ведь еще и половины не успела рассказать. Дошла лишь до того, как во время войны ее брат сколачивал капитал, а она и морально, и материально поддерживала его.

— Чепуха все это,— резко сказал адвокат.

— Что вы имеете в виду?— спросила мать.

— Буду с вами откровенен. Вопрос стоит так: вы заняли чужой дом и живете в нем. Хотя ваша семья и платила за квартиру, но всего пятьдесят иен в месяц; сами понимаете, по нынешним временам этих денег и на сигареты не хватит. Как бы закон ни изменился, вам это не поможет. Необходимо поскорее выехать из дома и тем самым прекратить дело. Чем дольше оно затянется, тем значительней будут расходы, а оплачивать их, причем полностью, придется вам...

Лицо матери приняло такое выражение, будто она видит все это во сне. Сказанное адвокатом полностью расходилось с тем, что она слышала, когда ходила советоваться в Кугуину-ма. Ее состояние можно было определить хотя бы по тому, как она потупилась и как покраснели ее виски. Насупясь и

опустив голову так, что подбородок уперся в грудь, она тихим голосом запричитала, жалуясь на тяжелую жизнь. Адвокат, теребя скатерть, смотрел в сторону. А она все не унималась. Они, мол, с братом договорились, что за квартиру она будет платить ему пятьдесят иен, а по ценам, существовавшим к окончанию войны, это не было так уж дешево. Туберкулез, которым заболел в армии ее сын Синтаро, у него до сих пор не прошел, и работать он не может. Когда во время воздушного налета сгорел их дом, она отсутствовала, как раз помогала эвакуироваться семье брата. А пожар утих сразу, как только сгорел их дом, и, если бы она никуда не уезжала, попыталась бы потушить пожар, и их дом вполне мог уцелеть, доказывала она адвокату.

— Мой муж военный. Вот брат и решил, воспользовавшись этим, сблизиться с армией. Потому он и обратился ко мне...

В этот момент пальцы адвоката, теребившие скатерть, вдруг замерли.

— Ваш муж военный?

Мать ответила с гордостью:

— Да, генерал-майор.

Недовольство с лица адвоката моментально исчезло. На нем появилось нечто похожее на улыбку, глаза сверкнули, и он, внимательно посмотрев на нас, сказал:

— О-о, военный! О-о, генерал-лейтенант... Во время войны это было прекрасно. Может быть, сегодняшние трудности — расплата за прошлое благополучие? ...В общем, заниматься вашим делом я отказываюсь. Поезжайте куда-нибудь еще и пригласите другого адвоката или предпримите еще что-либо — можете делать все что угодно. Возможно, вам не все понятно, но объяснить лучше я не в состоянии. По-моему, самое благоразумное для вас — поступить так, как я предлагал с самого начала.

Синтаро почувствовал, что краснеет. Он даже не понимал почему, — может быть, потому, что ему стало стыдно? А потом, почувствовав комичность ситуации, рассмеялся. Он продолжал смеяться и выйдя из дома адвоката. У него возникло ощущение,

что он наконец-то встретился с человеком, о существовании которого совсем забыл. Вдоль широкой улицы, по которой они шли, тянулись сгоревшие казармы. Когда Синтаро учился в начальной школе, отец служил здесь полковым ветеринарным врачом. Он красовался на лошади, хотя сидел на ней неловко, весь подавшись вперед, будто вцепившись в гриву. Но к чему знать об этом адвокату? Ему было вполне достаточно сведений о том, что его клиент — профессиональный военный, генерал-майор (то, что он повысил его в чине, роли не играло). Но ведь стыд за профессию своего отца он испытывал так давно. После его возвращения прошло уже четыре года. Он забыл даже, что долгое время они с матерью жили на жалованье отца. Под ледяным взглядом адвоката Синтаро вспомнил старую свою мысль, к которой не раз возвращался в глубине души: после войны профессия «военный» ликвидирована, поэтому и ему не мешало бы забыть о профессии отца. Стыд его был сродни тому, какой испытываешь, если обмочиться, не в силах сдержаться... Кто твой отец? Говори! Не понимаешь? Ветеринарному врачу достаточно дотронуться до лошади, и ему сразу же ясно, что с нею... Отойди от лошади, не то заразишься.

Громкое чихание врача напомнило Синтаро ледяной взгляд адвоката. Разумеется, между этими двумя людьми нет ничего общего. Адвокат отказался защищать семью Синтаро, а врач внимательно осмотрел мать, поступившую к нему от коллеги, лечившего ее до него. Что же тогда заставило Синтаро при первой же встрече отнестись к врачу так настороженно? ...Однажды вечером сам Синтаро видел, как он играет с больными в мяч. И они радовались всякий раз, когда долгоязому врачу не удавалось поймать его. «Плевать», — громко кричал он, смеясь, подбирал и, широко размахнувшись, снова бросал его. Тут он увидел высунувшегося из окна Синтаро и, сразу же перестав смеяться, еще раз-другой лениво бросил мяч и скрылся в больничном корпусе.

Синтаро, безусловно, все преувеличивал. Он, безусловно,

преувеличивал значение мужчины с забинтованной шеей. Это был тот самый человек, который безмолвно стоял у дверей, наблюдая за тем, как Синтаро направляется в палату матери, где ей обрабатывали пролежни,— он всегда безмолвствовал. Когда Синтаро проходил по коридору, тот, не говоря ни слова, следовал за ним с совком и веником и подметал, чтобы не осталось никаких следов. То же самое произошло, когда Синтаро прилаживал шторы. Мужчина хмуро наблюдал за его неловкими действиями и, похоже, готов был сказать: хватит прилаживать такую неудобную вещь. Но промолчал и лишь внимательно наблюдал за его действиями, недовольно покачивая головой, а потом ушел, стараясь ступать бесшумно. Синтаро казалось, будто он неотрывно за ним наблюдает. Возможно, он знал, что Синтаро дает иногда больным сигареты. Однажды, когда он сидел у постели матери и курил, в забранном решеткой окошке, выходящем в коридор, появилось лицо этого человека. Синтаро решительно поднялся и подошел узнать, в чем дело, но мужчина ужасно растерялся и замахал руками. Может, он глухонемой, мелькнуло у Синтаро. Но тут же отбросил эту мысль, вспомнив, что не раз видел, как тот разговаривал с больными и санитаром. В такие минуты мужчина, скрестив на груди руки, внимательно слушал собеседника, многозначительно покачивая головой — то утвердительно, то отрицательно. ...У мужчины грустно шевельнулись губы. Тогда-то Синтаро впервые заметил: к повязке на шее прикреплена стеклянная трубка. В руке у мужчины был вентилятор, и он сказал, что может одолжить его.

Синтаро не знал, как быть. Он стыдился своего заблуждения и непонятливости — ведь он не сразу сумел сообразить, чего хочет от него этот человек. Внимательно присмотревшись, он увидел — кожа у мужчины желтая и дряблая, над глубоко посаженными глазами — редкие седеющие брови. Глаза мутные, невыразительные... Неужели при случае они могут обернуться глазами жандармского прапорщика?.. Во всяком случае, он не производит впечатления человека, способного на бескорыстное дружелюбие. Хотя Синтаро, разумеется, и в голову

не приходило, что он предлагал ему вентилятор с какой-то корыстной целью... В общем, Синтаро решил взять его. Огромный черный вентилятор устаревшей конструкции выглядел неподъемным для этого человека. Вставленная в его горло стеклянная трубка дрожала при каждом вздохе. Синтаро поблагодарил и поспешно взял вентилятор. А тот, отдав его, рысцой побегал в самый конец коридора и появился вновь с длинным шнуром. Ведь в палате не было ни одной электрической розетки. Он присоединил шнур, потом направился в служебное помещение поискать штепсельную вилку. Поскольку он все это время молчал, действия его казались еще более энергичными и продуманными. Синтаро спросил, не тяжело ли ему дышать, но мужчина, оставаясь на четвереньках, отрицательно покачал головой. Убедившись, что вентилятор в палате матери работает, он стремительно скрылся за дверью, Синтаро даже не успел поблагодарить его.

Поди разберись, что это за человек? ...Стоя под струей воздуха, которую гнал вентилятор, Синтаро испытывал острое беспокойство. Он вообще терпеть не мог вентиляторов. К тому же ему было неловко перед больными, запертыми в других палатах, что вентилятор только у них с матерью. Но и выключать его было бы неразумно. Он — и это было самым нелепым — все явственнее осознал: в этой нестерпимо жаркой комнате с вентилятором гораздо лучше, чем без него. ...И все же беспокойство его не улеглось до вечера, пока он снова не встретился с мужчиной.

Тот стоял рядом с лодкой, вытащенной на каменную ограду. В сумерках чуть белели днище перевернутой лодки и бинты на его шее. Он чинил лодку, законопачивая чем-то щели. Улучив момент, когда он вроде бы прервал работу, Синтаро окликнул его. Мужчина поднял голову. Синтаро поблагодарил за вентилятор, и тот вдруг сказал хриплым голосом:

— Когда больной в таком состоянии, никто о нем не заботится.

Синтаро был поражен. И тем, что он говорил гораздо понят-

нее, чем днем, но главное — резкостью его слов. Мужчина продолжал:

— Летом жарища и комаров тьма, а зимой холодина. В такой палате и здоровый помрет...

Синтаро колебался, не зная, что сказать, а потом ответил: как ему кажется, и врач, и санитар стараются изо всех сил. Мужчина решительно замотал головой и стал так подробно и многословно обо всем рассказывать, что Синтаро даже опешил. Врач и санитар лишь присутствуют, но никакой помощи больным не оказывают, а в том отделении содержатся только пациенты, которым вообще никакой помощи оказывать не хотят, они фактически брошены на произвол судьбы, поэтому больные, если их туда переводят, говорят: ну, теперь конец; но рано или поздно большинство пациентов оказываются в этом отделении, и, значит, все обречены на смерть, говорил мужчина без умолку, не давая Синтаро вставить ни слова.

— Посмотрите, какие они сейчас бодрые, а их все равно заграбастают, загонят в то отделение — и крышка, все перемрут там,— показывал он пальцем на больных, бродивших по спортивной площадке, над которой уже опустились вечерние сумерки.

Синтаро они напоминали призраков, собравшихся на сцене, и, чтобы сменить тему разговора, он спросил о возвышавшемся полушарием острове прямо перед ними. Этот остров, густо заросший темными деревьями, был похож на привычную картинку из книги сказок. По словам мужчины, это — необитаемый остров, недавно его купила туристская фирма и для привлечения экскурсантов построила на нем молельню во славу «бога, соединяющего мужчин и женщин»,— после выходного дня пациенты лечебницы привозят оттуда пожертвования. Синтаро сказал, что все это очень интересно.

— Однако как они туда переправляются? Вплавь или, может быть, на этой лодке?..

— Как переправляются? Разными способами. В давние времена, говорят, этот остров был частью материка, и поэтому даже сейчас во время отлива на остров можно пройти пеш-

ком — так вот и переправляются.

— Странно, мне кажется, здесь слишком глубоко.

— Сейчас глубоко. Потому что прилив... А во время отлива из воды торчат сваи. Здесь выращивают жемчуг.

— Жемчуг?

Непроизвольно повторив это слово, Синтаро глянул на волны, плескавшиеся у самых его ног. Но там лишь тяжело перекатывалась черная вода и больше ничего не было видно.

Лицо мужчины выглядело усталым. Может, он слишком много говорил. Еще раз взглянув на торчащую из его горла стеклянную трубку, Синтаро вдруг вспомнил, что об этой трубке мужчина так и не сказал ни слова. Его, вполне возможно, оперировали, может быть, у него рак горла. Тогда понятно, почему он с таким сочувствием относится к пациентам лечебницы, к их судьбе... Но все это были домыслы, в действительности же об этом человеке Синтаро не знал ровным счетом ничего.

Они пошли к больничному корпусу.

— Спокойной ночи,— хрипло произнес мужчина, полагая, что они расстаются.

Синтаро ответил, что сначала зайдет в палату матери. Мужчина отвернулся от него. Всем своим видом он демонстрировал полное безразличие. Синтаро шел рядом с ним, направляясь в палату, и не понимал, чем вызвал его недовольство. Мужчина получил в служебном помещении связку ключей. Остановившись у первой из выстроившихся в ряд наподобие звериных клеток палат, он привычным движением отпер дверь и исчез в темноте. Синтаро чуть не вскрикнул. Значит, это — его жилье. И сам он, выходит, душевнобольной, хотя, разумеется, не тяжелый.

Примерно через два месяца после того, как Синтаро с матерью были у адвоката в Сэтагая, началась война в Корее. Два года, прошедших с этого времени до того дня, когда им пришлось покинуть дом в Кугуинума, были самыми счастливыми в их послевоенной жизни. Казалось, выход из дома ради

визита к адвокату сослужил Синтаро добрую службу — теперь, когда он выходил на улицу, температура у него больше не повышалась, он стал ежемесячно получать твердо установленную сумму как внештатный сотрудник одной текстильной компании, стал много переводить, а отец устроился в госпиталь оккупационных войск, где приводил в порядок картотеку. В день, когда отец принес первое жалование, мать купила сакэ и сладости и, усаживаясь ужинать, весело сказала, наливая отцу рюмку:

— Как хорошо получать жалование, мы точно вернулись в прошлое.

С помощью однокашника отца удалось на вполне приемлемых условиях нанять адвоката. Благодаря предпринятым им шагам суд прекратил дело и занялся примирением сторон. ...Все в их жизни повернулось к лучшему — они на это и рассчитывать не могли. Но именно с того времени в поведении матери стали замечаться странности. Тогда только что выпустили тысячеиенные купюры, и мать, отправляясь за покупками, то путала их с бумажками в сто иен и возвращалась домой без сдачи, то, наоборот, решив, что получила лишние деньги, ходила по соседкам и заявляла с гордостью: «Нет, что ни говори, покупать я умею». Она всегда была склонна к необдуманным поступкам, любила шутку, но теперь, даже когда шутила, сохраняла серьезное выражение лица. Стала невероятно забывчива, «нету... нету...» — повторяла она с блуждающим взглядом, точно околдованная, бродя из комнаты в комнату в поисках кошелька, который преспокойно лежал у нее за пазухой. Она ходила быстро, по-детски вразвалку, может быть, потому, что сильно располнела — между слишком коротким кимоно и носками выглядывали толстые ноги, — и, стремительно несясь по улице, часто падала.

— Ходить так, как ты, просто опасно. Ты хоть под ноги смотри, — говорил отец, надевая костюм и отправляясь на службу.

Мать действительно беспрерывно подвергала себя опасности. Но никому и в голову не могло прийти, что причиной тому —

болезнь. Им казалось, она все делает небрежно, кое-как, из-за годами накапливавшейся усталости — надо же было хоть как-то раскрепоститься. А вот в самом деле странными представлялись вечные ее причитания, раздражительность, злые слезы по пустякам. Без конца жалуясь на соседей, — те, мол, игнорируют ее, не отвечают, когда она заговаривает с ними, — мать распалаясь, багровела, точно пьяная, глаза ее наливались кровью, она вскакивала и била себя кулаком по голове, причитая:

— Ой, как болит голова. Вся левая половина. Не иначе сосуды лопнут. Разобьет паралич. Что делать? Ведь разобьет паралич.

Разумеется, раздражительными стали и отец, и Синтаро. Вернувшись домой с работы, они выходили из себя по пустякам. Отец возмущался, если мать запаздывала с едой, Синтаро высказывал недовольство, что еда слишком скудная. Работа отца была строго регламентирована временем, при опоздании вычитался дневной заработок, а в худшем случае грозило даже увольнение. Поэтому мать всегда следила за часами и не раз с криком вскакивала среди ночи, испугавшись, что проспала.

Но все же по сравнению с прежними временами жизнь их стала теперь мирной и спокойной. Уцелевшие в курятнике куры несли яйца. В свободное время отец удовольствия ради обрабатывал свой клочок земли в саду. А мать, лежа в неприбранной комнате и вспоминая вкус только что съеденных сладостей или детские годы Синтаро, то вздыхала, то смеялась от души.

Не то чтобы они забыли, что наступит день, когда им все-таки придется освободить дом в Кугуинума, но почему-то никто из них всерьез не задумывался над этим. Они прожили здесь уже семь лет. А ведь даже в своем собственном доме они не жили так долго. И мысль о том, что примерно через месяц они вынуждены будут куда-то переезжать, пришла им в голову лишь однажды вечером, когда отец с коробкой для завтрака в руке, уныло шагая от ворот к дому, сказал:

— Вот и кончилась моя работа.

Конечно, они знали, что работа у отца временная. Стоило корейской войне пойти на спад и сократиться линии фронта, как число поступавших в госпиталь раненых резко уменьшилось. И все-таки увольнение отца явилось для них неожиданностью. ...Нет, здесь не было ни малейшей его вины. Но когда он уселся на веранде, тоскливо глядя в сад, на лице его почему-то был написан стыд. У матери глаза налились кровью, несвязно бормоча какие-то слова, она понуро ходила взад-вперед между воротами и домом, точно искала что-то.

Синтаро и сам растерялся, даже пришел в отчаяние. Но, подумав, понял, что отчаиваться в общем-то нечего. В самом деле — у него самого все в порядке, нет никаких оснований ни для пессимизма, ни для волнений. Останься отец на работе и после того, как им пришлось бы покинуть дом, им ничего не оставалось бы, кроме как снять одну-единственную комнату на троих — на большее не хватило бы денег. Даже подумать страшно, что это была бы за жизнь. Их семейный бюджет сократился бы еще больше, матери пришлось бы готовить еду на чужой кухне, а значит, столкновения в тесной комнате и за ее стенами не прекращались бы. И нетрудно предположить, что при такой жизни они бы очень быстро истратили деньги, полученные в качестве отступного. А после этого двинуться никуда бы уже не смогли. Так что, если вдуматься, увольнение отца можно считать милостью судьбы.

Однако назавтра отец и мать, казалось, забыли о случившемся. Отец усердно кормил купленных весной цыплят, а мать, засунув руки под мышки, с явным удовольствием наблюдала за ним. О чем они думают? Что собираются делать дальше? Синтаро вспоминал то время, когда отец, недавно вернувшийся с фронта, подолгу шептался с матерью. Через несколько дней она вдруг сказала:

— Знаете, нам особенно тревожиться нечего. Разве мы не можем построить дом, взяв деньги в кредитном банке? А что касается земли, наш сосед К.-сан обещал дать нам участок бесплатно...

По глазам матери Синтаро понял, что больше ничего она говорить не намерена. И было решено, что он встретится со служащим кредитного банка. Само собой разумелось, что сделать это должен именно Синтаро. Неужели к тому времени мать уже была больна? Трудно сказать — их семья попала в такое безвыходное положение, что Синтаро даже не задумывался о том, что происходит с матерью. Удивительно другое — все внимание Синтаро было сосредоточено на поведении отца. Хотя дни шли и не сегодня-завтра им нужно было освобождать дом, отец был занят лишь тем, что из обломков разобранного курятника сколачивал какие-то странные ящики. Он хотел поместить в них кур и отправить в деревню Я. в префектуре Коти. Все ящики уже были готовы. В доме почти не оказалось мебели и вещей, стоивших того, чтобы тратить деньги на перевозку, и поэтому почти все имущество, которое они собирались вывезти из дома, составляли эти самые ящики. И вот настал день их отправки; станционный служащий был поражен — с таким багажом он еще никогда не имел дела — и сказал, что, по его мнению, нужно зарезать кур, продать, а деньгами распорядиться по своему усмотрению. Синтаро его предложение показалось, конечно, разумным. Ведь от Фудзисава до Коти товарный поезд идет неделю, даже пассажирский — три-четыре дня. А от Коти до деревни Я. еще день, не исключено, что дорога продлится и дольше. В общем, перевозить кур в августовскую жару не просто рискованная, а совершенно бессмысленная затея. На всякий случай Синтаро спросил: на что можно надеяться, сколько кур из этой дюжины благополучно прибудет на место. Пожилой станционный служащий с загорелым лицом осклабил и бесцеремонно ответил:

— Подохнут все до единой, не сомневаюсь.

Во время этого разговора отец лишь молча посмеивался. Он совал палец меж досок неловко сколоченных ящиков, стараясь расширить щели, чтобы не задохнулись квохтавшие странными голосами куры.

Первое сентября — день, когда они должны были освобо-

дить дом, — превратилось чуть ли не в праздник. Собрались все соседи — они пришли попрощаться и, конечно, поглазеть, как выселяют людей из дома «по закону». Мать — она до самого последнего дня и рук не приложила к сборам, — точно отправляясь в театр, доставала из старой, потрепанной сумки билеты и внимательно разглядывала их, потом вдруг уходила на задний двор к полуразрушенному колодцу и все смотрела на него, а вернувшись, распахивала настежь шкафы в дальних комнатах, покуда отец и Синтаро укладывали чемоданы и связывали узлы.

— Что ты там копаешься? Вот-вот судебный исполнитель придет! — сердито закричал отец.

Он волновался, опасаясь, как бы судебный исполнитель не явился до того, как они освободят дом, — это означало бы, что примирительное соглашение нарушено и никакого отступного они не получают. За полчаса до двенадцати, когда истек срок соглашения, все было готово к отъезду. Грузовик с вещами и тремя членами семьи, угрожающе рыча, отъехал. Ветер растрепал поседевшие волосы матери, примостившейся на вещах между Синтаро и отцом, а потом словно приклеил их ко лбу.

Было решено, что в тот вечер они останутся у родственников в Токио, на следующее утро отец с матерью отправятся в Коти, а Синтаро поселится в пансионе в пригороде Токио. Синтаро сразу взял свои вещи и, не заезжая к родственникам, отвез их в пансион. Когда он вечером приехал к ним, матери там не было и встретил его один отец, слегка растерянный. Оказывается, мать по дороге рассталась с отцом, решив навестить каких-то знакомых.

— Обещала к вечеру вернуться, но, наверно, заболталась. Плохо, когда человек лишен чувства времени, — сказал отец, как бы оправдываясь перед родственниками, устроившими им прощальный ужин. Они уже поели, а мать все не возвращалась. Дети, посланные на станцию встретить ее, вернулись ни с чем, по их словам, и станционные служащие не видели ни одного человека, хоть отдаленно напоминающего мать.

Всех охватило предчувствие беды. Они предположили даже, что она замыслила побег, не желая ехать в Коти. Лишь в двенадцатом часу в прихожей послышались тяжелые шаги и голос матери.

— Просто я по дороге заблудилась.— весело говорила она.— Спасибо, добрые люди проводили до самого дома.

Странно, что мать забыла дорогу в дом, где бывала много раз, а может, она придумала все, желая оправдать свое опоздание. Так или иначе, все вздохнули с облегчением, но наутро она снова сказала удивительную вещь:

— Ужасно. Не хватает чемодана. самого маленького, крокодиловой кожи. Его украл, наверно, вчера тот человек.

Действительно, куда-то запропастился небольшой чемодан, доверенный матери. В нем лежала сберегательная книжка, правда на небольшую сумму, и немного денег. Все присутствовавшие растерялись, а мать со смехом заявила:

— Не беспокойтесь, ничего страшного. Я все равно решила остаться жить в Токио, и чемодан мне теперь ни к чему. Я подарила его человеку, проводившему меня сюда.

Постепенно они начали понимать, что мать не в себе. Хоть и пытались истолковать ее слова как насмешку над собственной оплошностью. Она и раньше любила так шутить...

— Решено, я остаюсь в Токио. Буду жить вместе с Синтаро. А ты, отец, поезжай в Тоса один. И М.-сан, и Т.-сан — все мои приятельницы советовали мне так поступить,— твердила мать по дороге на станцию. И не успокоилась даже после того, как они прибыли на вокзал Синагава.

— Ну о чем ты говоришь. Давай быстрее, а то опоздаем на поезд,— тянул ее за руку отец.

И вдруг она спросила:

— Что это?..

Низко склонившись, мать удивленно таращила глаза на блестящие внизу рельсы.

Как только поезд ушел, Синтаро в поисках пропавшего чемодана тут же обошел все места, где могла быть вчера мать:

заглянул в полицию, на станцию, где она пересаживалась с государственной линии электрички на частную, — чемодана нигде не видели, просто не за что было ухватиться. Тогда он решил немедленно подать заявление об аннулировании пропавшей сберегательной книжки и получении новой, но для этого нужно было поехать в почтовое отделение в Кугуину-ма, где она была выдана. Итак, он должен был вернуться туда, откуда только вчера уехал. Но хлопоты эти не были для Синтаро такими уж неприятными. Ему даже казалось, что он уже привык без конца заниматься глупейшими делами и, не будь их, чувствовал бы себя неуютно. ...Однако, сойдя с поезда, Синтаро почему-то не захотел сразу же отправиться на почту и пошел в сторону дома, где они так долго жили. Ему было приятно снова взглянуть на привычные места. Казалось, будто не вчера еще ехал он в грузовике по этой дороге, а чуть ли не десять лет назад. Он приближался к дому — перед глазами появились знакомый забор и живая изгородь, а за ними сад, вот уже различимы отдельные деревья — он весь напрягся, даже сердце сжалось. Наконец показались ворота. Услышав, что его кто-то окликнул, Синтаро обернулся. Это была К., жившая в соседнем доме.

— Приехали за забытой вещью? А я тут голову ломаю, как бы вам сообщить.

К великому удивлению Синтаро, К. вынесла небольшой чемодан крокодиловой кожи. В покинутом ими вчера доме, сказала соседка, они по забывчивости оставили этот чемодан. Синтаро был обескуражен. Но тут его охватило другое чувство — невыразимый страх. Развязав крепко перетянутый веревкой потрепанный чемодан со сломанными замками, Синтаро не нашел ни денег, ни сберегательной книжки, которым следовало бы там быть. В чемодане лежал — наискось — только серп, которым они, упаковывая вещи, разрезали соломенную веревку. Точно пила, оцетинившаяся зубьями, отливавший синевой серп с налипшими обрезками желтой соломы был похож на какого-то зловещего зверя, острие его впилось в матерчатую подкладку чемодана. Синтаро вздрогнул. ...Казалось, из

старого, полуразвалившегося чемодана сочатся смутные, мятущиеся мысли матери, упорно стремящейся завлечь, приблизить его к себе.

Однажды — после этой удивительной истории не прошло и трех месяцев — Синтаро вдруг получил странное письмо. Он не сразу догадался, что оно от матери. Кривые, разной величины иероглифы заполняли почти всю лицевую сторону конверта, марка была приклеена на обороте в самом центре. Вскрыв конверт, Синтаро обнаружил лист почтовой бумаги, часть иероглифов была перечеркнута, а остальные походили не столько на иероглифы, сколько на размазанные чернильные кляксы. С трудом разобрав их и связав воедино, Синтаро прочел:

Как поживаешь, я недавно ходила к сумасшедшему врачу, — ничего плохого у меня вроде нет, отец снова стал разводить кур, за огромные деньги купил старый поломанный велосипед и что ни день ездит на нем за кормом, а за яйца он выручает ровно столько, сколько стоит корм, так что занимается он дурацким делом, изо всех сил занимается ненужным делом и только и знает, что гордится, скоро, мол, за ним пойдет вся деревня, а крестьяне говорят, торговать яйцами невыгодно, возиться с этим нечего, и не хотят иметь с ним никакого дела.

С тех пор как мы сюда приехали, отец ни с кем не разговаривает, даже с дядей ни словом не перемолвился. Тетя очень, очень плохой человек, вечно ругается, а недавно гонялась за мной с поленом.

Она била меня поленом, сказала мне — раздевайся, я раздевалась у колодца, а она давай меня колотить.

Как мне хочется поскорей уехать в Токио, будем вместе жить в Токио — хоть бы уж этот день пришел.

Пишу я письмо тайком, не знаю даже, как смогу его отправить, мне давно уже не разрешают ходить на почту, попрошу кого-нибудь отправить, надеюсь, оно дойдет до тебя.

*Господину Синтаро
от матери.*

В письме отца — оно пришло примерно в то же время — говорилось, что куры все до одной благополучно доехали и ежедневно несутся, он обрабатывает поле дяди, который лишился арендатора, в дождливые дни читает книги, извлекая их из кладовой. Короче, ведет жизнь, о которой сказано в известной поговорке: «В ясную погоду работать в поле, в дождливую — сидеть дома и читать». Так писал отец. Из его письма выходило, будто у них все в порядке и живут они с дядей и тетей душа в душу. О матери же было сказано только: «С недавних пор у нее часто случаются галлюцинации, видеть ее мучения невыносимо».

Синтаро не знал, кто написал в своем письме правду — мать или отец. Во всяком случае, оба письма нагнали на него тоску.

Со времени их приезда в лечебницу прошла уже неделя. Это отметила тетя, приехавшая из деревни навестить мать. Именно она заставила отца вызвать телеграммой Синтаро. Увидев его, тетя заявила:

— Твой отец молодчина. В полном смысле слова молодчина. Когда все это будет позади, ты должен беречь его.

Синтаро кивнул и ответил, что он тоже так думает. Отцу и впрямь досталось. Тетя, оправдывая свою задержку с приездом сюда, говорила: дядя, мол, ни за что не хотел оставаться один — вечно кричит на нее, а когда ее нет рядом, сам ничего не может делать. Она предлагала ему ехать вместе с ней, а он ни в какую: «Если я окажусь в таком месте, говорит, расхвораюсь, расстроюсь, кусок в горло не полезет». Ни за что не соглашался. Ну, конечно, раз уж речь идет о жене ее младшего брата, навещать ее в первую очередь должна она сама, говорила тетя. Осуждать дядю, подумал Синтаро, было бы несправедливо, и ответил:

— Дядин отказ я прекрасно понимаю.

— Ты копия своего дядюшки,— смеясь, сказала тетя.

— Возможно,— ответил Синтаро,— я в чем-то на него похож.

Приехать-то тетя приехала, но помочь в уходе за матерью

она ничем не могла. Мать по-прежнему непрерывно спала, санитар время от времени делал ей укол камфары с витамином, а остальные сидели у постели больной в полном бездействии. Синтаро, залитый лучами полуденного солнца, проникавшего через щели в шторе, думал о своей работе. Начальник отдела, страдавший хроническим катаром желудка, постоянно ныл: «Компания когда-нибудь вообще сумеет обходиться без отдела рекламы». Когда Синтаро нужно было уезжать, он показал ему телеграмму, но ни словом не обмолвился о том, чем больна мать и в какой лечебнице лежит; и теперь, когда он столько времени не показывается на работе, тот считает небось своего подчиненного отпетым бездельником и ругает его почем зря. Но что бы он там ни говорил, когда мать в таком состоянии, сразу уехать назад Синтаро не мог,— тут уж ничего не поделаешь.

Тетя начала рассказывать о том, как заботливо относился отец к матери все время, пока они жили в деревне. Стоило хоть на минуту выпустить ее из виду, как она исчезала, оказываясь у совершенно незнакомых людей за пять, а то и десять километров от дома, и приходилось ее искать. Никакой помощи в домашних делах от нее, само собою, не было, всю стирку и уборку должен был делать отец. Ее даже в баню нельзя было отпускать одну — отец шел вместе с ней и мыл ее.

Все это Синтаро уже слышал от тети, когда в прошлом году приезжал в деревню. Но прежний рассказ ее и нынешний немного расходились в деталях. Год назад из теткиных слов явствовало, что она и себя считает жертвой.

— Синкити-сан молодец. Он действительно показал себя молодцом. Уж на что ему трудно приходится, но он никогда не хнычет. Поворчит лишь, когда среди ночи, да еще зимой мать то и дело поднимает его — провожать в уборную, и изволь дожидаться на морозе, пока она справит нужду. Тут только он и ворчит.

Синтаро ясно представлял себе фигуру отца, стоящего около уборной на улице и с нетерпением ждущего, когда

наконец мать выйдет. Но для него это просто было символом «человеческой жизни».

Синтаро не мог даже вообразить, чтобы тетя была поленом обнаженную мать,— наверно, у матери была мания преследования. Так думал Синтаро, глядя на плоское лицо тети с прищуренными, точно от яркого света, глазами. Да, она взяла на себя немалую обузу, а сколько бы ей пришлось пережить, узнай она, что мать написала такое письмо и тайком отправила сыну. ...Примерно через полгода после того, как отец с матерью уехали в деревню, Синтаро стал получать письма от тети, отца и других родственников, приглашавших его хоть разок приехать на родину. И он всякий раз отговаривался либо тем, что на службе ему не дают отпуска, либо тем, что нет денег на дорогу. В самом деле, ему тогда было нелегко раздобыть денег на поездку в Коти, да и потом, заикнись он на службе, куда совсем недавно устроился, об отпуске дней на пять, не исключено, что вообще вылетел бы с работы, доставшейся с таким трудом. Но, честно говоря, если бы даже ему удалось раздобыть денег и получить отпуск, он все равно постарался бы избежать поездки. И не только потому, что мать была больна. Поездка в деревню представлялась ему слишком обременительной. ...Почти сутки трястись в поезде, потом ехать морем, нырять в бесчисленные туннели в горах Сикоку и, наконец, взглянув на лица стариков, тем же путем возвращаться назад — от одной мысли об этой канители тоска берет.

Но больше всего Синтаро не хотел ехать на родину потому, что письма отца и тети никак не могли заставить его поверить в безумие матери. Он старался убедить себя в том, что поведение матери — обычное притворство. Мать, считал он, устраивает эти представления, чтобы заставить его приехать, или, возможно не желая оставаться в деревне, делает все это нарочно, стараясь вызвать недовольство тети и всей ее семьи. Кроме того, он питал смутную надежду, что мать не должна была сойти с ума, ведь в роду у нее не было ни одного

такого случая. Нет, пожалуй, все же самым главным было то, что в глубине души Синтаро верил в «нормальность» матери. Это, безусловно, было глупо. Но он ничего не мог с собой поделать.

...Он сам, когда дело касалось матери, удивлялся своему поведению. Например, он тщательно хранил в глубине письменного стола ее бессвязное письмо. Хотя вообще-то он не имел привычки хранить письма — от кого бы то ни было. А те немногие, которые оставлял — вдруг пригодятся или просто на память, — почему-то всегда пропадали. И лишь это — единственное — письмо он не в силах был выбросить. Возможно, ему не хотелось, чтобы оно попало в чужие руки. Но ведь можно было сжечь его или уничтожить каким-либо иным способом. Однако ему почему-то и в голову не приходило сделать это. Более того, он часто, сам не зная зачем, доставал письмо и внимательно перечитывал его. Просидев весь выходной день в своей комнатухе, он с наступлением сумерек впивался глазами в уродливые иероглифы, плясавшие на шершавой почтовой бумаге — она стала грязно-серой, — и погружался в чтение, не слыша даже ленивого боя стенных часов на первом этаже... Он перечитывал письмо сотни, тысячи раз. И совершенно отчетливо представлял себе не только что и какими иероглифами написано в той или иной части страницы — это уж безусловно, но даже фактуру бумаги с фиолетовыми полосками, цвет чернил и форму, которую они приняли, расплывшись. Зачем же тогда он все время читал его? Во всяком случае, не из-за беззаветной любви к матери. Перечитывая письмо, он ощущал себя человеком, который, разглядывая змею в террариуме, обнаруживает вдруг в этой отвратительной твари свои собственные черты... Возможно, он пытался найти в письме приметы душевной болезни матери. И поэтому снова и снова перечитывал его, чтобы — хоть для себя самого — решительно отвергнуть мысль о ее недуге.

Перечитывая письмо, он упорно стремился убедить себя — нет, у матери не заметно никаких психических отклонений.

...Так или иначе, получив летом прошлого года письмо

отца, сообщавшего, что мать придется класть в лечебницу, Синтаро не поверил. Произошел, решил он, какой-то «инцидент», и потому его вызывают.

Дом в деревне Я., где жили родители, был окружен глинобитным забором, за ним высились толстенные, в несколько обхватов, стволы раскидистых столетних сосен. Увидев их в сумерках, Синтаро ощутил разом и покой, и душевный трепет. Забор, правда, был наполовину разрушен, но это не умаляло величавости сосен. Высокая крыша, напоминавшая кровлю храма — почти всю черепицу с нее сдуло ветром, и проплешины были заделаны мхом и травой, — казалось, вот-вот обрушится. Синтаро в сопровождении тети и отца — они встретили его у ворот — вошел в полутемную комнату с земляным полом, где был кухонный очаг, и в ту же секунду откуда-то сбоку, из тьмы раздался голос матери:

— О-о, Син-тян... вернулся к нам.

От неожиданности Синтаро остановился как вкопанный. Не то чтобы он не предполагал, что облик матери мог измениться, но все же не думал, что увидит ее лицо таким увядшим. Правда, в своем воображении он представлял образ десятилетней давности, когда мать была совершенно здоровой. Лицо матери, которое он увидел, было точь-в-точь таким, как во время отъезда из Кугуинума. Мать улыбалась. Сидела в углу комнаты, прислонившись к стене, и улыбалась, обнажив два передних зуба, — она походила на застенчивую девочку. И Синтаро вдруг вспомнил ее совсем другой — еще здоровой. С первого взгляда было ясно — она ненормальная. От одного сознания, что вот сейчас он должен подойти к ней, его охватил озноб. Он и сам не понимал, чего испугался.

Однако по мере того, как он привыкал к облику матери, лицо ее постепенно становилось для него прежним.

— Но в общем не так уж она плоха.

— Да, увидев тебя, она сразу же успокоилась.

Так на другой день переговаривались Синтаро с отцом, а мать тем временем шутила с тетей — они почему-то весело

смеялись. Потом вдруг решили вчетвером прогуляться к могилам семьи Хамагути, находившимся на холме за деревней. В доме, заросшем густой зеленью, царил полумрак, его продувал свежий ветерок, но стоило выйти на улицу — солнце оказалось таким ярким, что свет его проникал даже сквозь прикрытые веки. Идя по тропинке между полями, они вдыхали упоительный запах созревающего риса. Мать отстала — ей тяжело было дышать, и Синтаро, остановившись, обернулся к ней. Она прищурилась, улыбнулась ему.

— Странное дело,— сказала она тихо, будто шептала на ухо Синтаро.— С недавних пор отец стал назначать молодой девушке свидание у храма, и они куда-то уходят вместе.

Синтаро рассмеялся:

— С чего это ты взяла?

Отец, в старых военных брюках и спортивных туфлях, ничего не ведая, спокойно шел рядом с тетей.

— С чего, говоришь?— у матери сверкнули глаза.— Да ведь это теперь происходит каждый вечер. Я пошла было за ним, а он: «Не мешай!»— говорит и столкнул меня с тропинки прямо на рисовое поле. Разве же это не обидно? В Кугуинума по миру нас пустил, во все нос свой совал, а теперь вон что вытворяет.

Синтаро не стал ее разуверять. Солнце палило нещадно. Вокруг — ни деревца. Когда они снова двинулись вперед, мать, кажется, немного успокоилась и как ни в чем не бывало шла рядом с ним. Но вскоре, запыхавшись, опять остановилась, и с ней случился новый приступ. Голос звучал все громче, глаза усталились в одну точку, жилки на висках бешено пульсировали, грудь высоко вздымалась от одышки.

— Хитрец, старая лиса!— далеко разносился ее громкий голос, поносивший отца.

— Может, не ходить дальше? Лучше, наверно, вернуться домой?— спросил Синтаро отца, стоявшего к ним спиной.

— Нет-нет, пойдем, к чему возвращаться. Она ведь каждую ночь такое устраивает, а бывает еще и похлеще.— И отец двинулся вперед.

На другой день Синтаро с отцом вдвоем отправились в лечебницу. Сразу же по приезде в Коти мать начала там лечиться. Врач, к которому они обратились с просьбой положить мать в лечебницу, прекрасно ее помнил и, изобразив на бледном лице улыбку, сказал, что ухаживать за ней дома действительно очень трудно. В его голосе Синтаро уловил еле скрываемое злорадство. По тону врача Синтаро понял, что он давно уже предлагал поместить мать к нему, но отец до сегодняшнего дня противился этому. Пока отец обсуждал с врачом формальности, Синтаро в сопровождении санитаря обошел лечебницу. И врач, и санитар, казалось, изо всех сил старались быть любезными. Отец и Синтаро, договорившись на следующий день положить мать, уже уходили, но тут их остановил врач и, попросив стать у больничного корпуса, направил на них объектив фотоаппарата, наверно, только что купленного. Над головой светило жаркое летнее солнце, они с нетерпением ждали, когда он наконец спустит затвор.

Домой они вернулись под вечер. Покинув лечебницу, Синтаро почему-то почувствовал невероятную усталость. Но когда, войдя во двор, увидел мать,— она с отсутствующим видом стояла за спиной у тетушки, которая возле курятника готовила корм для кур,— усталость с него как рукой сняло,— может быть, оттого, что он весь напрягся. Надув губы, мать, казалось, никого не видела вокруг и, не обратив никакого внимания на Синтаро, прошла мимо него, а потом, что-то бормоча себе под нос, стала, как автомат, ходить взад-вперед между домом и воротами. В ее облике Синтаро почудилось нечто от загнанного в клетку зверя.

Всю эту ночь мать спала спокойно. Возможно, потому, что за ужином ей сказали — завтра они все вместе вернутся в Токио. Ночью из комнаты, где спали отец и мать, сквозь фусума* послышался звук удара, и Синтаро решил, что у матери снова случился приступ, но вместе с сонным бормота-

* Фусума — раздвижная перегородка в японском доме.

нием отца он услышал ее голос: «Я иду в уборную» и звук раздвигаемых фусума. ...По мере того как шаги приближались по темному коридору к его комнате, Синтаро испытал леденящий кровь страх. На белевших сёдзи* появились тени.

— Нет-нет, не сюда. Уборная там, в другой стороне,— произнес голос отца.

— Что ты говоришь? Неужели ошиблась?— ответил удивительно послушный голос матери, и шаги удалились в том направлении, где действительно была уборная, потом послышался скрип старой, крепко сбитой двери.

На следующий день все прошло гладко. По пути они замешкались лишь однажды, когда объясняли дорогу водителю.

Утром у матери выражение лица было совершенно безмятежным. По мере приближения к лечебнице и поведение ее, и разговор становились настолько рассудительными, что у Синтаро с отцом возникла даже мысль — не вернулся ли к ней рассудок? Устремленные вдаль глаза стали осмысленными, взгляд — ясным, можно было легко понять, какими представляются ей люди, мимо которых они проезжали, что она о них думает. ...Пока водитель выключал радио и разворачивал машину, Синтаро все время был начеку, опасаясь, как бы остановка не вызвала у матери приступ, но в зеркальце лицо ее с закрытыми глазами выглядело абсолютно умиротворенным, каким не было уже много лет.

Когда они, свернув с улицы, на которой выстроились в ряд закусовые, поехали по горной дороге, в машине вдруг воцарилась полнейшая тишина. Мать, до этого в прекрасном настроении, забавно вторившая выступавшей по радио певице, теперь, плотно сжав губы, смотрела прямо перед собой на густую зелень деревьев, спускавшихся к самой дороге. ...Синтаро стал не на шутку беспокоиться — неужели к ней

*Сёдзи — раздвижные стены в японском доме.

и в самом деле вернулся рассудок и она, прекрасно все понимая, решила отдать себя в руки судьбы? Не следовало советоваться с врачом. (Накануне Синтаро спросил его, как лучше всего доставить больную в лечебницу. Врач, вдруг развеселившись, уклонился от прямого ответа, сказав только: «Все прибегают к разным уловкам. Говорят же: «Ложь во спасение».) Вспоминая бледного врача, направившего на них объектив фотоаппарата, когда они с отцом уезжали из лечебницы, и его гладкую речь, Синтаро чувствовал, что сердце его терзает раскаяние.

— Смотрите, какая красота!— воскликнула тетушка.

Перед ними неожиданно открылся вид на море — машина начала спускаться вниз, на дно огромной чаши. Белая сахарная глыба здания лечебницы на берегу моря, отражавшего голубое небо и высящиеся за ним зеленые склоны, по мере их приближения все разрасталась. Синтаро вдруг почувствовал, что в отличие от вчерашнего дня сейчас здание, как живое существо, широко раскрывает ему свои объятия. ...Врач, как и накануне, широко улыбаясь, встретил их у входа.

— Итак, Хамагути-сан, в какую комнату вы хотите, чтобы мы вас поместили?— усадив мать на стул в приемной, спросил врач таким тоном, словно разговаривал с ребенком.

Синтаро был поражен. Неужели он думает, что мать удалось уговорить приехать сюда? На бледных, казавшихся мягкими щеках врача сегодня чуть отросла рыжеватая щетина — наверно, она бросалась в глаза из-за яркого света, падавшего из окна. ...Мать молчала. Хотя ее и спросили: в какую комнату вы хотите, чтобы вас поместили?— она ведь не знала, есть ли у нее здесь право выбора, и ей не оставалось ничего иного, как молчать.

— Подождите минуточку. Пойду узнаю, какие свободны.

Распространяя запах дезинфекции, врач вышел из комнаты — она сразу же опустела. ...Здесь стояли лишь тяжелый полированный стол и шесть деревянных стульев, и совершенно отсутствовали мебель и оборудование, составляющие непре-

менный набор в приемных обычных больниц и клиник. Нет, это, конечно, приемная. Иначе почему же она такая мрачная, что совершенно не свойственно обычному кабинету врача. ...Вдруг послышался тихий вздох — будто раскололась напряженная до предела тишина, царившая в комнате.

— Хм, он нас совсем бросил! — проворчала мать, словно выдыхая оставшийся в легких воздух.

...Мать в полосатом кимоно, которое ей дала тетушка, выглядела совсем крохотной; она обреченно сидела на жестком стуле, отвернув свое загорелое лицо в сторону, чтоб никого не видеть. Все растерялись на миг, а потом стыдливо потупились, не в силах шелохнуться, но тут бодрым шагом вошел врач и заявил:

— Итак, Хамагути-сан, комната приготовлена. Пусть с нами пойдет кто-нибудь из родных. Идти всем не стоит — слишком много народа, это может обеспокоить пациентов. ...Да и новая пациентка почувствует себе одинокой, когда провожающие — все сразу — покинут ее.

Тетушка, подняв голову и взглянув на отца, потом на Синтаро, сделала глазами знак Синтаро, чтобы шел он. Лицо и даже шея отца почему-то побагровели, будто пьяный, он обреченно вертел головой. В конце концов идти пришлось Синтаро, он встал.

Чтобы попасть в отведенную матери палату, нужно было пройти длинными коридорами и несколько раз подняться и спуститься по лестницам. Наверно, по этим же лестницам и коридорам Синтаро шел вчера. Но сегодня он воспринимал их совсем по-иному... Он старался не нарушать умиротворенного состояния, в котором они пребывали. Однако расстояние между ним и шагавшим впереди врачом то увеличивалось настолько, что начинало казаться, будто врач делает это намеренно, то сокращалось — и Синтаро едва не наткнулся на него. ...В конце длинного коридора, разделенного несколькими противопожарными перегородками, была огромная комната, застланная циновками. Помещения такого типа

известны почти каждому, кому хоть раз в жизни пришлось ночевать в дороге. Зал дзюдо, общая каюта третьего класса на пароходе, дальние покои храма, банкетный зал японской гостиницы... Служа в армии, Синтаро каждый раз, когда его переводили в другую часть, ночевал в таких помещениях.

— Циновки новые, из окна вид на море...

Неожиданно услышав эти слова врача, Синтаро понял, насколько он ошеломлен. ...Разносился запах тростника, из которого были сплетены циновки, в окне, выходящем на восток, ярко сверкали небо и море. Когда Синтаро, полагавший, что мать поместят в небольшую палату, спросил у врача, почему этого не сделали, тот уклонился от прямого ответа, сказав:

— Видите ли, здесь и подруги у нее найдутся, и будет с кем поговорить.

У Синтаро не хватило духа задать новый вопрос. С той минуты, как он оказался в этой комнате, перед глазами у него все плыло, как в тумане, и было такое ощущение, будто тело его, рассыпавшись на мелкие осколки, плавает в воздухе.

— ...Надо что-то сказать матушке,— прошептал врач, приблизив к нему свое бледное, мягкое лицо.

— Да, да...

Произнеся это, Синтаро на какое-то время задумался, не в силах найти нужные слова. ...Врач приблизил к нему лицо чуть не вплотную и стал торопить его.

— Говорите что угодно, что угодно,— повторил он дважды.— Все сойдет, лишь бы это успокаивало пациента. Ну, говорите же, пожалуйста.

Врач улыбался. Загорелое лицо матери находилось прямо перед Синтаро. На ее морщинистой шее он увидел седые волоски.

— Поправляйся скорее, мама, а пока поживи здесь. Как только выздоровеешь, я сразу приеду за тобой. И поедем в Токио.

Синтаро чувствовал, что у него начинает заплетаться язык, и, замолчав, испытал неодолимое желание бежать отсюда прочь,

без оглядки. Но тут врач снова сказал тихим голосом:

— Вы бы хоть обняли ее.

Синтаро послушно неловким движением обнял мать. Ладони ощутили ее маленькие костлявые плечи. Мать обернулась и искоса глянула на него. Он непроизвольно напряг руки, лежавшие на плечах матери, и слегка подтолкнул ее вперед. Дойдя до дверей, Синтаро обернулся. И тут ему самому захотелось что-нибудь сказать ей. Мать, с отсутствующим выражением лица, вроде бы спокойно сидевшая посреди огромной комнаты, казалась крохотной.

В следующее мгновение Синтаро был уже в коридоре. Больные, которых раньше не было видно, окружили врача и наперебой разговаривали с ним:

— Сэнсэй*, когда вы меня выпишете?

— Я уже совершенно поправилась, только...

— Сэнсэй, мне нужно с вами поговорить.

— Хорошо, хорошо. Понимаю, понимаю,— смеясь, махал руками, точно крыльями, врач.

Через головы врача и больных Синтаро увидел, как дверь палаты, откуда он только что вышел, закрывается. Светло-зеленая металлическая дверь захлопнулась. И на ней был задвинут засов того же цвета. Он понял, что отныне, с этой минуты мать навсегда разлучена с ним.

Кругом была полная тьма, и лишь около окна, казавшегося кривым из-за плохо прилаженной бамбуковой шторы, колыхалось что-то белесое. Здесь не было вечерней тишины. С наступлением темноты по больничному корпусу начинали разноситься глухие звуки. ...Помещенная накануне в лечебницу девушка из соседней палаты, которой в этом году исполнилось семнадцать, уже давно плачет, беспрерывно всхлипывая. Санитар, как положено, сделал ей укол снотворного. Она, конечно, тут же уснула, но все равно плачущий голос ее звучал, будто

* Сэнсэй — почтительное обращение к уважаемому человеку (преподавателю, врачу, ученому и т. д.).

пропитал стену и остался в ней. Другой соседке, постоянно требовавшей еды, тоже сегодня сделали укол, и она спала — ей ввели снотворное потому, что в палату матери без конца входили люди, больная возбудилась и начала так буйствовать, что ее невозможно было унять. Голос той женщины, которую окатили водой и заставили вернуться в свою крохотную палату, тоже до сих пор витал в воздухе.

Во второй половине дня, примерно с трех часов, дыхание матери на глазах стало слабеть... Это случилось сразу же после того, как тетя ушла из лечебницы, сказав:

— Сейчас я еще успею добраться до дому и приготовить ужин.

Она, наверно, и до остановки автобуса не дошла. Тут Синтаро немного повздорил с отцом. Отец говорил, что тетушку нужно вернуть, а Синтаро возражал ему.

— Специально приехать сюда, чтобы проведать мать, и уехать обратно, не проведя с нею ее последних минут,— тетушка будет так огорчена,— сказал санитар.

Мнения санитара и отца совпадали.

Но Синтаро не придавал всему этому никакого значения. Пока они ссорились, пришло время отправления автобуса, да и дыхание матери снова стало ровным. Врач и сестра, которых позвал санитар, вернулись растерянные. Врач покидал палату, всем своим видом выражая откровенное недовольство, и в каком-то смысле Синтаро ему сочувствовал. ...Врач раздражен, понимая полное свое бессилие. Ему было невыносимо сознавать ответственность, возложенную на него, когда ему не оставалось ничего иного, как все предоставить природе.

Когда врач и все остальные ушли, Синтаро сел на каменные ступеньки у входа в больничный корпус и закурил. К нему подошел больной и, потупившись, стал выражать сочувствие, но тут Синтаро вдруг увидел, что в его сторону повернулась кучка больных, тихо переговаривавшихся между собой. Судя по их виду, они явно были уверены, что мать только что умерла. Испытывая стыд и угрызения совести, Синтаро решил вернуться в палату и тут услышал за своей спиной голос:

— Нет, я думаю, ваша матушка еще не скончалась.

Даже не оборачиваясь, Синтаро сразу же понял, что это говорил мужчина с забинтованной шеей. Он сел на ступеньки рядом с Синтаро. ...В этой лечебнице врач в неурочное время посещает палату тяжелобольного, только когда тот при смерти, сказал мужчина.

— Я все-таки думаю, врач сглупил,— добавил он.— Человек умирает только во время отлива. И очень редко — когда прилив. Хорош врач — не знает прописных истин.

— Вот как,— поддакнул Синтаро, подумав: отчего этот мужчина так враждебно относится к лечебнице и врачу.

Синтаро все это было странно — стоило вспомнить, как мужчина сам открыл свою палату, похожую на клетку, и вошел в нее. Он, несомненно, решил весь остаток жизни (возможно, не такой уж и долгой) провести в этой лечебнице. Но тогда можно предположить, что утверждение «я сам собственными руками создаю свою жизнь» не имеет столь большого значения. Да и что здесь особенного? В конечном счете, речь идет лишь о том, что мужчина сам открывает свою клетку.

За спиной Синтаро — выкурив сигарету, он собирался вернуться в палату — раздался голос: отлив будет после одиннадцати, а до этого времени можно спокойно поспать. Этот добрый совет был приятнее освежающего ветерка вентилятора, но Синтаро ответил, что, к сожалению, ему совсем не хочется спать, и вернулся в палату.

Сколько времени прошло с тех пор? Синтаро поднял глаза и увидел в окне овальный кусочек ночного неба. Потом всплыла мысль, что он все-таки спал и видел странный сон. Кругом темень и колышущаяся вода, а он сидит на чем-то напоминающем огромную скалу. Время от времени со дна моря поднимается ветер и обрушивается на него, и вдруг он обнаруживает, что сидит вовсе не на скале, а на каком-то животном, покрытом твердым панцирем, как морская черепаха. Синтаро вспомнил: во сне он был еще ребенком, и мать учила его плавать. Нырни, говорит она ему, и открой под водой глаза. И он, послушавшись, увидел, как в зеленой воде колышется черное

огромное тело матери... Интересно, сколько он спал? Беспокойство, испытанное во сне, чувствовал Синтаро, все еще гнездится в нем, и вдруг он вспомнил слова мужчины с забинтованной шеей, что умирают во время отлива,— его охватило дурное предчувствие. Никто об этом и не знает, а мать умерла у него на глазах... Похолодев от одной этой мысли, он наклонился над матерью — даже ночью в нос ударял кисло-сладкий запах, — но услышал хоть и слабое, но спокойное дыхание. ...Пронесло, подумал он. Но для верности пошел в служебное помещение посмотреть, который час. Десять минут третьего. Если то, что сказал мужчина с забинтованной шеей, верно, роковое время миновало. Значит, мать и на сей раз избежала опасности. Но в следующее же мгновение впал в уныние, вспомнив, что приливы и отливы повторяются ежедневно.

В оставшиеся до рассвета часы уныние сменялось покоем, потом опять возвращалось уныние — и так без конца. Все внимание он сосредоточил на одном — слушать, как дышит мать, и в какой-то момент почувствовал, что свое дыхание он старается слить с дыханием матери. Наконец он увидел — наступает утро. ...Засветило солнце, воздух обрел прозрачную голубизну. Окружающие предметы — привычную форму, со стороны кухни слышался шум — там уже начали работать.

Появился санитар, шаркая спортивными туфлями на резиновой подошве, вслед за ним пришел отец. Стало совсем светло.

— Смотрите, как она дышит, как отвисла челюсть,— сказал санитар.

Мать, широко раскрыв рот, так что нижняя челюсть почти касалась шеи, тяжело дышала.

— Когда такое начинается — плохо,— сказал санитар, повернувшись к отцу.

Отец молча кивнул. И сказал Синтаро:

— Может, позвонить в деревню?

Синтаро почувствовал во всем теле невыразимую усталость. И в то же время раздражение против обоих.

— Откуда мы знаем, что она вот-вот скончается. Да если

мы и позвоним тетушке, еще неизвестно, придет ли она.

Санитар с отцом переглянулись. Потом отец решительно произнес:

— Нет, сообщить в деревню мы обязаны. Позвоним, а там...

Я и вправду сказал глупость, подумал Синтаро. Но для него перед лицом приближающейся смерти матери было невыносимо это мелочное соблюдение приличий.

К моменту раздачи завтрака больным наступает дневная жара. И у Синтаро начинают слипаться глаза. ...В отличие от ночных часов, когда он в темноте лишь ловил на слух дыхание матери, днем, в комнате, наполненной солнцем, он видел, как мать не просто слабеет на глазах, но из ее облика постепенно исчезает все человеческое.

Нос, щеки, подбородок обвисли, сморщились и словно начали таять от жары. Лишь дыхание не замирало ни на минуту. Время ползло невероятно медленно.

Наконец, отирая пот, появилась тетушка со словами:

— Успела все-таки.

Она начала, не умолкая, болтать обо всем, что приходило ей в голову: о том, что муж снова не пожелал приехать навещать мать, о переполненном транспорте, о видах на урожай риса. Больную она просто не замечала. Но Синтаро было приятно видеть, как тетушка — она была лет на шесть старше матери, — отирая пот, стекавший по покрасневшему лицу, оживлена и разговорчива. Сама она и все связанное с ней, казалось, пышет здоровьем, и чудилось, будто и стены, и пол, и солнечные лучи — все яркое и мощное — легко преодолевалось этой женщиной.

— Смотри, что я купила по дороге, — подумала, ты тут от жажды пропадаешь, — сказала тетушка, вынимая огромный темно-зеленый арбуз.

Это тоже помогло рассеять гнетущую атмосферу в палате. Когда она, разрезав арбуз, протянула санитару большой кусок, он сказал, улыбаясь:

— Половинку съем сам, а другую отнесу жене.

Синтаро до сих пор и в голову не приходило, что у него есть жена, которая, по его словам, тоже работает в этой лечебнице. Что за комичное зрелище, подумал Синтаро,— этот молодой человек с редкими усиками вдвоем с женой едят арбуз,— и он рассмеялся. Теперь он стыдился, что по пустяковому поводу совсем недавно злился на отца и санитаря.

Но время шло, и пышущее здоровьем лицо посетительницы все больше затуманивалось. Едва они начали есть арбуз, громко переговариваясь, послышался голос, слабый, как писк цыпленка:

— Сестра, сестра. Арбуз, арбуз, очень прошу. Хочу арбуз. Мне тоже арбуз. Хочу, хочу.

Тетушка продолжала есть. Рукой с зажатым в ней арбузом, с которой капал сок, она указала санитару на отрезанный ломоть, чтобы тот отнес его соседке. Но санитар ответил:

— Нельзя, у нее понос. И хоть у нее в палате есть унитаз, она пачкает все вокруг. Я только недавно отругал ее за это.

Синтаро однажды видел через окно, как эта несчастная, совершенно нагая, ползала по полу. Лицо девушки — ей было двадцать лет — казалось таким добродушным.

— Арбуз хочу, хочу, хочу, арбуз хочу...— продолжал вызывать хриплый голос со странными модуляциями.

Голос становился все громче, девушка без конца повторяла одно и то же, точно скороговорку. Не следует поддаваться ее голосу и впадать в уныние, подумал Синтаро. Он должен доесть арбуз. ...Но крики становились все громче, и он заметил, как мать нахмурилась, хотя и прежде ее отекавшее вытянутое лицо выражало страдание, сильнее которого представить себе было невозможно, и его охватила тоска. Наконец тетушка и санитар быстро собрали остатки арбуза и корки и пошли выбрасывать их на кухню.

Тем временем температура в комнате повышалась. Тетушка и отец поочередно протирали губы матери смоченной в воде ватой — влага тут же испарялась. Но если в рот воды попадало чуть больше, мать начинала делать судорожные глотатель-

ные движения. Тут в палату вошел санитар с поилкой, наполненной желтой жидкостью, и сказал:

— Вот, жена приготовила сок. Больной хорошо бы хоть немного поесть. Если в желудок ничего не будет поступать, она совсем обессилеет.

Но разве можно было кормить больную, находившуюся в таком состоянии?..

— Попробую покормить, попробую.— Санитар всем своим видом показывал, что попытается вставить в рот больной носик поилки. Ни у кого из присутствующих не было ни малейших причин мешать ему.

Санитар опустил на корточки, приблизился к лицу матери, чуть повернутому налево, и внимательно посмотрел ей в рот. Нижняя челюсть отвисла, и виднелся сухой язык, касавшийся изнутри левой щеки. Санитар носиком поилки придал языку более удобное положение и стал потихоньку капать на него желтую жидкость. Попадая на сухой язык, она растекалась по нему, постепенно проникая в горло. Брови матери напряженно задвигались, но она продолжала спокойно дышать.

— Прекрасно,— сказал санитар.

На язык матери уже попало пять-шесть капель. Сначала он вливал по одной капле и делал паузу. Потом по две, наконец по три... Теперь почти весь язык был влажен. Санитар взглянул на деления, нанесенные на поилке. Выходило, что в рот матери попала примерно чайная ложка сока.

— ...Попробую влить еще немного,— сказал он, пристраивая поилку сбоку.

Желтый сок, протянувшись тонкой ниточкой, полился в горло.

— Прекрасно!— снова сказал санитар.

Вдруг мать, сморщив лицо, закашлялась. При этом язык ее толкнул носик поилки, и из него выплеснулось слишком много сока. Мать раскашлялась еще сильнее, носик поилки угрожающе уперся в верхнюю челюсть, задняя часть языка окрасилась в желтый цвет.

В горле у матери забулькало, будто его забило мокротой,

она вдруг открыла глаза. При каждом вздохе на языке пенился желтый сок. И раздавался такой звук, будто всухую работал насос. Дыхание участилось раз в десять.

Санитар, не говоря ни слова, выскочил из комнаты. ...Когда через несколько минут вошел врач, мать издавала хриплые звуки и почти не дышала. Врач, остановившись у ее постели, несколько минут молча наблюдал за ней, потом, обнажив ей грудь, приложил стетоскоп. На правой стороне груди он проделал это три раза, и один раз — посредине, прижав стетоскоп чуть сильнее. Дыхание прекратилось, словно этот легкий нажим поставил последнюю точку. С багрового лица матери и кончиков ее пальцев начала сходить краска. Врач выпрямился и позвал санитаря, стоявшего в коридоре. Санитар обратился на врача широко раскрытые глаза, спрятанные за очками. Подняв руку, врач посмотрел на часы.

— Одиннадцать часов девятнадцать минут.— Назвав время, которое санитар должен был записать в историю болезни, врач обычным своим широким шагом вышел из комнаты.

Все произошло мгновенно.

Как только врач ушел, Синтаро, сидевший на полу прислонясь к стене, почувствовал, как его тело покидает некая тяжесть, ему показалось, что вес, которым он давил на стену, исчез. Тело как бы всплыло вверх, и некоторое время он не мог шевельнуться.

Прошло еще какое-то время, пока он обратил внимание на то, что санитар подвязывает матери челюсть и закрывает веки. Было не очень приятно видеть на белых пальцах санитаря черные волоски, но когда Синтаро удавалось отвлечься от его рук, переведя взгляд на мать, он испытывал необъяснимое волнение. Лицо матери сильно изменилось, страдальческое выражение исчезло с него, успокоенное, оно снова казалось таким, как было лет десять назад. ...И тут в палате раздался странный звук. Такого он еще никогда не слышал. Поняв, что это плачет тетушка, он удивился еще больше. Когда умирает человек, наконец вспомнил он, близкие люди обычно плачут,

и звучащий в палате плач он долго воспринимал почему-то как угрозу, как вызов. Печально, когда тебя оплакивают, подумал он. И разозлился на плачущую тетю. Зачем плакать? Разве под силу слезам превратить нас в добросердечных, теплых людей? Рядом с тетей на коленях стоял отец, взявшись руками за голову. С этой минуты Синтаро охватила апатия. ...Санитар, стоявший за спинами плачущей тети и взявшегося за голову отца, в крайнем возбуждении выскочил из палаты и побежал по коридору, но тут же вернулся с каким-то предметом, напоминавшим круглый ком риса с воткнутыми в него палочками для еды. Оставив его и чашку с водой у постели матери, он, ругая на ходу пациентов, наблюдавших из своих окон через коридор за тем, что происходит в палате, снова куда-то умчался... Уж не носится ли он так, подумал Синтаро, оттого, что хочет сгладить тяжелый осадок от страданий, причиненных им матери перед самой смертью. В любом случае нечего принимать это так близко к сердцу, хотел сказать ему Синтаро, но случая не представилось — санитар всячески избегал его взгляда.... Хотя, если б тот и посмотрел на Синтаро глазами загнанного человека, молящими о прощении, он убежал бы...

Представляя себе эту картину и к тому же терзаемый плачем, Синтаро подумал, что здесь ему больше делать нечего. Он встал. Когда он направлялся к двери, тетя вопросительно подняла на него красные заплаканные глаза, но Синтаро, не обратив на нее внимания, перешагнул через порог.

Выйдя из помещения и ступив на землю, Синтаро почувствовал головокружение. Солнце, стоявшее над головой, слепило глаза, он закрыл их, и земля стала уходить у него из-под ног. Это, конечно, от страшной усталости. Вдобавок он больше недели — дней восемь, если не девять — днем ни разу не появлялся на улице, кроме одного случая, когда ходил покупать штору. На спортивной площадке он бывал лишь вечером, а то и ночью.

...Что же он делал все эти девять дней? Ради чего сидел

безвылазно в комнате, пропахшей кисло-сладким запахом? Может быть, девять дней в одной комнате с матерью были его искуплением? Хотя искупление это досталось довольно легко, но все же ради чего понадобилось оно, что ему следовало искупить? Да и вообще, не абсурдна ли сама по себе мысль добиваться искупления своей вины перед матерью? Разве недостаточно того, что он — ее ребенок? Искупление матери в том, что у нее есть сын, искупление сына в том, что он рожден ею на свет. Что бы ни произошло между ними, каковы бы ни были их поступки, все должно решаться ими, и только ими. И стало быть, посторонним нечего соваться в их дела.

Погруженный в эти мысли, Синтаро шел по спортивной площадке куда глаза глядят. ...Что ж, все кончилось — он радовался, сознавая, что может теперь спокойно и свободно, никого не стесняясь и не боясь, идти по «пейзажу», на который до этого лишь смотрел из окна палаты, упрятанной за толстыми больничными стенами. Его даже не мучило нещадно палившее над головой солнце. Ему хотелось, чтобы жаркие солнечные лучи выжгли отвратительный запах, пропитавший одежду, забившийся в самые укромные уголки его тела. Пусть этот запах выдует и развеет морской ветер... Шагая вдоль каменной ограды, обращенной к морю, Синтаро вдруг остановился, потрясенный открывшимся его глазам видом.

Утесы, обступившие бухту, сказочный, точно парящий в воздухе остров,— Синтаро уже привык к этому пейзажу. Но сейчас он остановился и замер — потому что увидел сотни свай, черневших посреди на редкость спокойного, словно пруд, моря, на котором не было даже ряби. Ни малейшего движения. И лишь сиявшее над головой солнце разбрасывало по морской глади золотистые блики. Ветер утих, запах моря исчез, все казалось высушенным в этом необычном пейзаже, поднявшемся из морской пучины. Глядя на ряды свай, торчащих как зубья расчески, как могильные камни, он понял, что рядом и впрямь прошла *смерть*.

Рассказы

Хрустальный башмачок

После полуночи даже на Нихонбаси наступает тишина.

Лишь время от времени далеко разносится громкий шум автомашин, пронсящих по скоростной автостраде.

— Как дела?

Я переложил в другую руку влажную от пота трубку, положил ноги на стол и, откинувшись на спинку стула, стал разговаривать с Эцуко — она, как обычно, звонила мне, лежа в постели.

— Ох, как бы мне хотелось встретиться с медведем. Ты когда-нибудь видел, как медведь тащит на себе рыбу?

— Нет.

— С какой неохотой ты мне отвечаешь. Надо было повторить слово «медведь». Мне рассказывали, медведь иногда разговаривает с человеком,— это правда?

— Не знаю.

— Ты же говорил, что родился на Хоккайдо. И не знаешь этого?

Слушая голос Эцуко, воспроизводимый колебаниями тонкой металлической пластинки, я смотрел на выстроившиеся за стеклом витрины иссиня-черные стволы охотничьих ружей... Тело Эцуко совсем еще детское — плоская грудь, непомерно длинные руки и ноги,— когда я обнимал его, в моей груди, казалось, что-то обрывается. И все же стоило ей начать сопротивляться, как меня охватывало невыносимое отвратительное чувство, будто я задыхаюсь, запутавшись в водорослях на морском дне... А теперь вдруг какой-то медведь. Я стал разговаривать сам с собой. Нет-нет, надо предпринять что-то решительное. Может, и сама Эцуко надеется на это. «Хочу

встретиться с медведем». Наверно, у нее такой условный знак.

— Кончатся летние каникулы. ...Сколько, интересно, осталось дней?

— Перестань, перестань.

Я нарочно заговорил о том, что было для нас табу.

Ждать — такова была моя работа.

Нанятый сторожем в охотничий магазин N, я обязан был охранять его в ночное время от воров и пожара. Работа нетрудная. Я ничем не отличался от термометра, висевшего у дверей кладовой, где хранились боеприпасы. С помощью термометра невозможно определить, вспыхнул уже в кладовой пожар или нет, а вступить в борьбу с ворвавшимися в магазин грабителями у меня все равно не хватило бы мужества, так что мне оставалось одно — спокойно ждать пожара и воров.

Это напрасное ожидание и позволяло мне сохранять работу. Не имея своего угла, я таким образом обеспечил себе не только завтрак и ужин, но и кров, под которым мог коротать ночь. Днем же я ходил в колледж — отсыпаться на лекциях.

Однажды хозяин магазина попросил меня отнести дробь для птичьей охоты подполковнику Крейгу, служившему врачом в американской армии, жил он в Харадзюку. Подобные поручения не входили в мои обязанности, да и день был жаркий, как обычно в начале мая, и я всю дорогу костерил хозяина почему зря, но зато меня ждал радушный прием. Бледная худенькая служанка принесла мне попить, угостила печеньем. При этом она смущенно улыбнулась, как человек, сделавший что-то не совсем приличное. Мне показалось, что она похожа на овцу. Почему-то она мне напомнила белую овцу, жующую бумагу. Открыв лапой дверь, в кухню вошел старый на вид черно-белый пятнистый пойнтер, чтобы заставить его служить, я протянул ему крекер, но он даже не повернулся в мою сторону. И лишь когда девушка намазала крекер маслом, он нехотя съел его. Поев, собака с подозрением взглянула на меня и, изобразив на морде выражение,

свойственное ученому мужу, когда он, задумавшись, сидит за столом, подперев щеку рукой, улеглась у ног девушки. Подполковник Крейг, рассказала мне девушка, вместе с женой отправляется завтра на остров Ангаур, и она три месяца будет одна присматривать за домом. Я собрался уходить, но девушка попросила меня побыть еще немного и, когда я достал из кармана трубку, собираясь закурить, протянула мне пачку сигарет. Движения ее были медленные, неуверенные. Зажигая спичку, она, будто боясь обжечься, неловко держала ее за самый кончик, и лицо у нее при этом было невероятно серьезное. Наверно, она хорошо воспитана, подумал я.

В тот день я почему-то совсем не торопился. Когда я уходил, она, снова смущенно улыбнувшись, сказала: если хочешь, заходи, поразвлекаемся. Я согласился. Такое времяпрепровождение казалось мне гораздо приятнее, чем сидеть на жесткой скамье в колледже.

Так мы подружились с Эцуко. У меня в мыслях не было, что я могу влюбиться в нее. Она в общем-то была не особенно привлекательной.

Не прошло и недели, как я снова отправился к ней, она была в легком домашнем кимоно с рисунком, напоминавшим теннисную ракетку, а оделась так, по ее словам, потому что нездорова. Я посмеялся — рисунок на кимоно показался мне очень уж детским, и мы заговорили о летних каникулах. Эцуко сказала, что она одна из лучших учениц. В ее бледности и аккуратной одежде было что-то от старосты класса. Но все равно начало учебного года было ей так же ненавистно, как и мне, последнему ученику. Нам было грустно оттого, что дни, оставшиеся до конца летних каникул, убывали один за другим. И еще нами владело детское беспокойство, причиной которого была опустошающая душу жара. Все, что мы испытывали, одинаково владело нашими сердцами, независимо от того, приятные это были чувства или нет. Даже сегодня, сказал я ей, когда я свободен и развлекаюсь,

стоит мне увидеть гору тетрадей с летним заданием, а я к ним до сих пор не прикасался, и даже стрекот цикад кажется мне невыносимым, раздражает. Тут она вдруг спросила:

— Послушай, а ты когда-нибудь видел птицу цикаду?

Я был поражен. Эцуко ведь двадцать лет. Я переспросил ее, решив, что ослышался, и в уголках ее губ появилась туманная улыбка. Я стал объяснять:

— Цикада — вовсе не птица. А насекомое. Они бывают самых разных видов.

Мои слова поразили Эцуко. Она широко раскрыла глаза — а глаза у нее были очень красивые.

— Да-а? А я-то думала, цикада — вот такая огромная птица.— Она развела руки, показывая нечто величиной с арбуз. ...Я был потрясен. Бабочка величиной с верблюда, кузнечик, как собака,— такая фантастическая картина промелькнула у меня перед глазами. Мне стало весело, и я громко расхохотался. А девушка заплакала:

— Все, что ты мне наболтал,— сплошное вранье. Я сама видела таких цикад... В Каруидзава.

Говоря это, она горько плакала, прижавшись к моему плечу.

По ее щекам тонкими струйками текли слезы. Я растерялся.

— Не знаю. Может, в Каруидзава и есть такие. Честно говоря, я ни разу в жизни не видел живой цикады.

Я обнял Эцуко. Так мы сидели некоторое время. Ее влажные глаза сверкали и от этого казались еще больше. Глядя на ее покрытое пушком бледное лицо, я вдыхал запах ее тела. Детский запах. Но он заставил меня почувствовать в ней женщину. Приподняв волосы, я поцеловал ее в мочку уха. Эцуко не отвергла моего поцелуя.

Но потом я встревожился. Поступок этот показался мне верхом неприличия. К тому же я не представлял себе, что было у Эцуко на уме. На самом ли деле ей ничего не ведомо? В замешательстве я и вовсе сгустил краски, в сущности ничего не произошло — облизнул девушке ухо, и все. Мне даже стало казаться, будто в Каруидзава в самом

деле водятся цикады величиной с арбуз. Но ведь настоящей-то «вруньей» была Эцуко. Поздно ночью она позвонила мне.

— Как дела? Плохо себя чувствуешь?— Я забеспокоился — может быть, девушка, жаловавшаяся мне на нездоровье, клянет себя за случившееся днем, и от этого у нее поднялась температура. Но она перевела разговор на другое:

— Налетела тьма лягушек, и я никак не могу заснуть. Вдруг лица коснулось что-то холодное. Зажигаю свет — лягушки. Откуда взялись — не пойму. На кровати их прямо полно... крохотные лягушата, с ноготок.

Нет, верить ей нельзя, подумал я. Даже если бы я считал ее рассказы о лягушках правдой, пора кончать разговор — уже третий час ночи. Конечно, она нарочно болтает об этих лягушках, и, значит, ее «цикады», о которых мы говорили днем, тоже выдумка. После этого она всегда пользовалась одними и теми же приемами, точно стремилась укрепить меня в сомнениях. Например, старательно выспрашивает о названиях деревьев, трав, зверей. А потом весело смеется, словно радуется: «Ты просто зазнайка, притворяешься, будто тебе все известно, и вид у тебя при этом такой серьезный». С этими словами она надевает обычно — покрасоваться — желтый целлулоидный браслет, похожий на игрушечный.

Видимо, у Эцуко была привычка много раз повторять одно и то же. Однажды мы чуть не полдня играли в какую-то простую карточную игру. Щипцы для орехов оказались сломанными. Я стал учить ее колоть орехи, зажимая их дверной петлей, как мы делали это на сборах нашей школьной спортивной команды, и Эцуко с увлечением занялась колкой орехов по моему способу. Сначала она сказала: достаточно будет расколоть три-четыре ореха — для печенья, но потом ей это так понравилось, что, вертясь около огромной двери в столовую, она каждый раз, расколов очередной орех, торжествующе восклицала: «Смотри! Готово, смотри!» Заразившись ее азартом, я тоже колот орехи, приговаривая: «Ух ты, здорово!» А оцарапав по неосторожности руку до

крови, шипел, грозя кулаком тяжелой дубовой двери: «Ну, дождешься ты у меня!» И лоб мой при этом покрывался капельками пота, хотя я всегда гордился тем, что не потею. Эта наша игра продолжалась до бесконечности. Собака, напуганная тем, что мы делали, беспрерывно лаяла. В тот день я так объелся орехов — даже в голове помутилось.

Постепенно я обнаглел. У меня вошло в привычку утром после работы сразу же отправляться к Эцуко и там, приняв душ, укладываться спать на диване в столовой. Открывая входную дверь, я испытывал странное чувство: едва закончив свои обязанности сторожа, я превращался в вора; но после сна, попивая приготовленный Эцуко кофе, я приговаривал, морщась: жидковат. То же самое я мог бы сказать об Эцуко. Она сидела рядом со мной на ковре, поджав ноги, и со стороны ее можно было принять за хозяйскую дочь, уже много лет живущую в этом доме. У одной из стен столовой на расстоянии двух метров друг против друга, как в купе вагона, стояли кресла, а между ними был камин — предмет особой любви Эцуко. В топке горкой лежали черные куски стекла, напоминавшие каменный уголь, а в глубине были вделаны цветные лампочки. Стоило повернуть выключатель, и черные стекляшки начинали сверкать, будто в камине полыхало зелено-желтое пламя, но тепла он не излучал. И служил лишь украшением комнаты. Мы часто устраивались в креслах у камина со словами: «Давай сядем в поезд». «Надо бы и еды прихватить, — говорила Эцуко и приносила печенье. — Смотри, как хорошо видна Фудзи-сан».

С полным ртом она указывала пальцем на картину с изображением Фудзи, висевшую над каминной доской. Однако кресла стояли далеко друг от друга, и, чтобы быть ближе, мы в конце концов сползали с них на пол. А там, «в купе поезда», было самое темное место в комнате; все вокруг — стол, стулья и прочая мебель — становилось темным, будто на дне глубокой ложины, лишь неяркий свет из камина высвечивал профиль девушки. Лежа на ковре и чувствуя, как длинный его ворс щекочет влажное тело, я,

глядя на ее темное лицо в красных бликах, вспоминал ощущение, испытанное в тот раз, когда коснулся губами мочки ее уха. Даже мурашки по спине пробежали. Может, протянуть руку, думал я. Но почему-то не решался, хотя она всегда сидела так близко, что легко мог коснуться ее. Тем более, даже не делая этого, я все время испытывал волнение. ...Может быть, это была любовь? Мне казалось, Эцуко сейчас выглядит совсем иначе, чем в тот день, когда я увидел ее впервые.

В конце концов Эцуко вовлекла меня в разыгрываемый ею спектакль. И я радовался этому. Безропотно подчиняясь ее прихотям, я чувствовал, что делаю ее «своей». Она предлагала играть в прятки, и мы играли. Выходило, будто и дом, и вся мебель — наши. Укромных местечек было сколько угодно. Под кроватью, за шторой, в шкафу, в туалетной комнате, полной зеркал. ...Однажды я поднялся на второй этаж и спрятался в кладовке, в висевшем без дела огромном вещевом мешке из водоотталкивающей ткани. Такое я придумал впервые. Когда я с трудом опустил в него ноги, он стал раскачиваться из стороны в сторону, но стоило влезть в него с головой — оказалось, там очень уютно. Надорвав мешок по шву, я стал наблюдать за тем, что происходит: Эцуко, не зная, где меня искать, ходила взад и вперед по коридору, нерешительно открывала дверь спальни, потом туалета, потом, радостно вскрикнув, ворвалась в ванную и наконец сбежала по лестнице, выкрикивая мое имя, и скрылась в глубине дома. Сначала я изо всех сил сдерживался, чтобы не засмеяться, потом мне стало скучно и я, наверно, заснул. Ночами я не спал — такая была у меня работа, поэтому и привык спать днем, — интересно, сколько времени я проспал? Когда я проснулся, в доме царила странная тишина. Спустившись вниз и идя по широкому коридору с высоким потолком, я почувствовал, что у меня весь затылок в пыли. Я открыл дверь в столовую — Эцуко сидела перед стоявшим на столе неправдоподобно огромным тортом, залитым джемом.

— А, вот и ты, — сказала она сердито, увидев меня. И тут

же веселым голосом заявила, что ни за что на свете не даст мне попробовать этот вкусный торт, печь который ее научила хозяйка.— Ты со мной дурно обошелся. Теперь и я поступлю так же. ...Я еще вчера его испекла.

Не обращая внимания на ее слова, я стал просить хоть кусочек торта. Пока мы пререкались, я, славно выпавшись до того, на самом деле почувствовал голод.

— Не дам. Сама все съем.

— Ну дай хоть откусить разочек.

Не успел я договорить, как она начала обеими руками заталкивать в рот торт, диаметром дюймов в восемь и, высунув язык, слизывать капавший с торта джем.

— Ой!..

Тут уж я удивился по-настоящему. А она, шаловливо глянув на меня — в уголках ее губ налип джем,— рассмеялась.

— Ладно, откуси с этого конца, хочешь?— Она наклонилась ко мне с зажатым в зубах куском торта.

У меня не осталось времени для размышлений. Перемазанные джемом, мы стали целоваться.

Это случилось на четвертой неделе после отъезда подполковника Крейга.

Я уже не мог жить без Эцуко. Все, что не было связано с ней, казалось мне пустым и ненужным. В магазине я не находил себе места. Если бы хозяин вдруг решил проверить, как я несую свою службу ночного сторожа, он бы, несомненно, поразился моему усердию. Раньше, когда в магазине никого не оставалось, я, устроившись в самом удобном кресле, читал или дремал, теперь же и минуты не мог усидеть на месте. Бесперывно ходил по магазину, протирал стоявшие в пирамиде ружья, бренчал ключами от дверей и окон, проверял показания термометра у кладовой, где хранились боеприпасы. И если бы даже в магазин ворвались грабители, я бы этого не заметил. Я был поглощен одним — ожиданием звонка от Эцуко.

Сидя в кресле, я весь дрожал от нетерпения, не отрывая глаз от телефонного аппарата, стоявшего на столе. Даже

сидя в уборной, я напряженно прислушивался, не звонит ли телефон. Ничто не волновало меня так сильно, как разговор по телефону с Эцуко. Болтая с ней по часу, иногда по два, а то и дольше, я испытывал неудовлетворенность, точно мне лишь давали понюхать угощение и этим ограничивались. Все мои слова растворялись во мраке, а ее — доносились до меня какими-то бесплотными созвучиями. Мы словно занимались перетягиванием каната — в руках у нас был один и тот же предмет, но что за предмет, я не знал. Не понимала и она, о чем говорил я. Разговор она заканчивала обычно, подражая вою какого-то животного:

— Ауу, ауу, ауу.

И тогда мне хотелось, точно это был ломоть хлеба, съесть трубку, в которой еще не растаял голос Эцуко.

Мы неуверенно кружили вокруг главного. То, что тогда мы поцеловались именно так, было явной ошибкой. Можно, наверно, целоваться и так, как мы это сделали, но только если обычный способ уже надоел. Да и то в самом крайнем случае. ...С тех пор меня неотступно преследовали мягкие, с каштановым отливом, волосы Эцуко, ее податливая белоснежная кожа, на губах сохранялся вкус того сдобного, сладкого торта. Ощущение это оставляло меня только в минуты, когда я касался ее тела. Присущая Эцуко детскость была ее «искусством». Во всяком случае, для меня она служила неодолимым препятствием. Представления, которые устраивала Эцуко, превратились в огромные, нелепые зонты, отгораживавшие ее от меня, — может быть, этим я и был ошеломлен? Но возможно, во всех ее действиях было нечто, вынуждавшее ее непрерывно прибегать к своему «искусству»?

И даже в моих объятиях она все время увертывалась:

— Только разочек. Сказала же, только разочек.

У меня опускались руки. Сопrotивлялась она, правда, не особенно энергично. Но все равно я уже был ни на что не способен. И, так и не растратив переполнявших меня сил, возвращался в магазин. Интересно, что она обо мне думала?

А может быть, ей просто нравились такие дурацкие штуки, потому и играла со мной в прятки? А на следующий день я снова гонялся за ней по всему дому, делая вид, будто хочу съесть ее всю, с головы до пят.

Я жил как в тумане. Днем теперь уже почти совсем не спал. Не спал и ночами, хотя и утратил свое бывшее служебное рвение. Стоило мне расстаться с Эцуко, и в те минуты, когда я не шагал нервно из угла в угол, я, уронив голову на стол, почему-то рисовал в своем воображении полет свистящего снаряда.

Время мчится со страшной быстротой. Но я не обращал на это внимания. Может быть, оттого, что я почти не спал, дни и ночи перемешались в моем мозгу, горевшем надеждой и нетерпением, и проносились как один бесконечный день. Однажды меня удивило вот что: Эцуко, собрав крошки крекера, залила их молоком и стала есть. Я понял — изобилие кончилось. В шкафу осталось лишь то, что нам было не по душе — маринованные оливки, анчоусы, чеснок, кокосовые орехи, похожие на мелко крошенную сухую редьку, пойнтер стал наведываться в соседские кухни. ...Наши летние каникулы подходили к концу.

У меня был знакомый по имени Ханэяма — даже если бы он выходил из бани, тот, кто не знал его, подумал бы, что он только что вылез из сточной канавы, куда случайно свалился. Он, наверно, и родился весь в грязи. При этом он никогда не был заросшим, не позволял себе надеть несвежую рубаху. Более того, имел собственный туалетный столик, и в какой бы бедности ни пребывал, у него не переводились модные лосьоны и кремы, а волосы после перманента вились, как на лобке. Он носил трусы в желтую горизонтальную полоску — «американские», хвастался он, готовый спустить брюки, чтобы продемонстрировать свои трусы, которые, по его мнению, были просто шикарными. Он без конца менял квартиры, поскольку все время влюблялся, но неизменно вызывал отвращение, и ему не оставалось ничего другого, кроме бегства.

Каждый раз, когда у него появлялась новая возлюбленная, он приходил ко мне и подробно рассказывал о своих любовных историях, вызывавших у меня только скуку. Брызгая слюной, летевшей с ярко-красных губ, точно нарисованных на одутловатом бледном лице, он с серьезнейшим видом повествовал о своей любви — это выглядело очень смешно и в то же время трагично.

Вот этого-то Ханэяма я и считал экспертом по части женщин. И решил рассказать ему о том, что происходило между мной и Эцуко. Моему бессвязному рассказу все время мешал призрак Эцуко, то и дело появлявшийся и вновь исчезающий, и в конце концов моя исповедь стала сумбурной и бессвязной.

— Так что же мне делать?— впился я глазами в Ханэяма. Его ответ был краток:

— Ничего страшного. Ты на верном пути. Еще одно усилие, и все будет в порядке.

— На верном пути, говоришь?

Мне казалось, я понимаю, о чем говорит Ханэяма, но на самом деле ничего не понимал. А он, пристально взглянув на меня, заявил напрямик:

— Да, то, что ты делаешь,— единственно возможное,— весело расхохотался, а потом, перестав смеяться, добавил:— Но будь осмотрителен. Женское вранье, пусть незатейливое, все равно вранье, так что я не удивлюсь, если она тебя и обманывает.

Расставшись с Ханэяма, я вышел на улицу. Мне нужно было восполнить запасы, которые мы с Эцуко уничтожили. Где только мог, назанимал я денег, да еще обратил в деньги те несколько учебников и словарей, которые у меня были.

Я шел по улице, и мне казалось, будто уже давным-давно не ходил по ней. Было очень жарко. Вот-вот должно было наступить настоящее лето. Меня подгоняли, точно последние листки календаря, катастрофически уменьшавшиеся запасы еды в шкафу на кухне дома в Харадзюку. Во время «летних каникул» мы съели там все дочиста. Было ясно — случившееся

с нами исчезнет бесследно, как наряд Золушки после двенадцати часов ночи. Теперь самым важным для меня стало головокружительно мчащееся время. Ночью, когда я выполнял свою работу, заключающуюся в непрерывном ожидании, и велась наша бесконечная игра с Эцуко, ставшая теперь ненужным ритуалом; время, которое я не просто не знал куда девать, а готов был проклинать, так оно было мне в тягость, этого времени, если вдуматься, у меня уже совсем не оставалось. ...Тут я неожиданно сообразил, что нужны лишь деньги и я смогу купить все что угодно. А я сидел сложа руки, словно ждал, покуда эта простая мысль не будет ниспослана мне небом. Переполюнявая меня радость вызвала даже странную иллюзию. Мне показалось, что, если шкаф будет набит продуктами, снова наступят «летние каникулы»...

В продовольственном магазине я оторопел, будто меня огрели по голове. Висевшие по стенам огромные соленые рыбины, связки сосисок, громоздившиеся повсюду самые разнообразные продукты окружали меня со всех сторон и подавляли своим обилием. Увидев горы свежих продуктов среди людской толчеи, я обомлел, будто передо мной была поставлена тарелка с ботинком, политым соусом... Я не испытывал ничего подобного до того, как познакомился с Эцуко. Узнав у продавщицы цены и расплачиваясь, я почувствовал нечто похожее на стыд. Получив сдачу у девушки с широким угловатым лицом, я подумал: нет, покупать такие продукты мне не пристало. Я как-то упустил из виду, насколько повлияла на меня Эцуко. Подумал даже, что, наоборот, делаю это именно ради нее. Взяв в охапку огромный сверток с продуктами, я с воодушевлением, точно солдат, подбадриваемый командиром, покинул магазин.

Дом подполковника Крейга стоял на вершине холма, куда вел переулок, идущий от широкой дороги, обсаженной с двух сторон дзельквами. У дома переулок обрывался тупиком. Под ярким солнцем, с огромным свертком в руках я, обливаясь потом, поднимался вверх по дороге — ну, еще немного, подбадривал я себя, глядя на появившуюся, точно театральная

декорация, крышу дома, потом на окна, но когда наконец взобрался на холм, то увидел огромный военный грузовик с брезентовым верхом. Около него, чуть в стороне от входа в дом, стоял джип. Это был автомобиль Крейга. ...Вернулись, значит. Я чуть было не выругался: на целую неделю раньше приперлись. Но от усталости лишь тупо смотрел на происходящее, да, наверно, и отчаяние мое было не столь уж велико. Первым моим движением было повернуться и уйти. Но непреодолимое желание избавиться от тяжелого, неудобного свертка подбило меня на авантюру.

Крейг в военной форме стоял у входа и зажатой в руке трубкой указывал, куда нести большие и маленькие ящики, которые выгружали из грузовика. С трудом успокаивая готовое вырваться из груди сердце, я вошел в ворота.

US... белая табличка с номером реквизированного дома неожиданно возникла перед моими глазами. Еле передвигая ноги, я сказал громко:

— Гуд монинг.

Подполковник не ответил. На его полном достоинства лице с густыми бровями появилось недоуменное выражение, он пристально посмотрел на меня. Этого было достаточно, чтобы повергнуть меня в прах.

— Ошибаешься. Уже два часа дня.

Мне вспомнились станционные электрические часы с толстыми стрелками, и я почему-то сильно смутился. Но одновременно меня охватила злость, в бешенстве я круто повернулся и помчался вниз, точно колесом катился с холма.

Термометр показывал 34 градуса по Цельсию. Выведенная на дверях кладовой, где хранились боеприпасы, надпись «опасно» готова была потечь от жары.

...Сбежав с холма в Харадзюку, я, позабыв об Эцуко, весь день чувствовал себя опозоренным, ненавидел себя. Но теперь, немного успокоившись, отчетливо понял: моя жизнь, какой она была до позавчерашнего дня, как бы я ни старался, уже никогда не вернется, и при мысли об Эцуко сердце начинало бешено

колотиться. Каким бы глубоким ни было мое отчаяние, вернуть прошлое невозможно. Я сообразил, что маленькая деревянная табличка с номером реквизированного дома свидетельствует о чем-то дорогом для меня, попавшем в руки противника.

Грустно бродил я по магазину. Теперь сколько ни жди, ничего не дождешься. Насыпанные горкой пустые гильзы, шарики фейерверка, которые пускают на спортивных праздниках, деревянные утки — привады... Мой взгляд задумчиво блуждал поверх всего этого.

Около одиннадцати раздался пронзительный звонок. Криво усмехаясь, я побежал к телефону. Наш ритуал, существовавший до позавчерашнего вечера, не забыт — сердце бешено заколотилось. ...Но секунду спустя все приняло совершенно другой оборот. Звонил не телефон. Сквозь неплотно прикрытую штору за стеклянной дверью виднелась человеческая фигура, освещенная уличным фонарем. Эцуко. Я стал отпирать дверь, но ключ не слушался, никак не входил в замочную скважину. Увидев меня, девушка улыбнулась через стекло. Хотя и залитое оранжевым светом, лицо ее казалось страшно бледным. Открыв дверь и увидев, что она тут, рядом со мной, я все равно не мог в это поверить. Идя по вытянувшимся на полу теням от ружей, составленных в пирамиду, Эцуко сказала:

— Точно три года не виделись.

Ее слова пришли ко мне как будто из другого мира.

Подполковник Крейг и его жена вчера неожиданно вернулись, а сегодня снова уехали. Устали от своего путешествия и отправились в Никко, немного отдохнуть...

— Удивлен?— Эцуко заглянула мне в глаза.— Сказали, что приедут послезавтра, так что наши каникулы продлеваются на два дня.

Я был не в силах отвечать. Эцуко спросила, удивлен ли я, а я не знал, как объяснить свое удивление. Действительно, жизнь, которую я считал конченной, возвращалась снова. ...Мне чудилось, будто я держу в руках хрустальный башмачок. Подаренные два дня представлялись мне этим башмач-

ком, оброненным в спешке во время стремительно пролетевших каникул. ...Неужели вместе в башмачком вернется все, что я потерял?

— Вчера ты так быстро убежал. Я тебе сразу же стала звонить, но почему-то никто не отвечал.

Звонить днем было, разумеется, бесполезно. В дневные часы меня не бывает в магазине. Эцуко могла бы и сама догадаться. Когда я сказал ей об этом, она, широко раскрыв глаза, простодушно воскликнула:

— А-а, вот оно что.

Тут я вспомнил, какой она бывала обычно.

— Знаешь, как мне тебя пришлось разыскивать?

Я ей действительно не давал адреса магазина. Она нашла его на старом рекламном плакате, в который была завернута дробь, принесенная мной первый раз в Харадзюку.

— Спросила бы у кого-нибудь на станции, тебе бы сразу показали.

— Нет, спрашивать ни у кого не хотелось.

Говоря это, Эцуко прижалась плечом к моей груди. Я обнял ее. Сердце девушки гулко колотилось. Потом она попросила, чтобы я вынул из нагрудного кармана рубахи трубку. Я резко вытащил ее оттуда и швырнул в сторону. Она раскололась, стукнувшись об пол из искусственного мрамора,— это было понятно по звуку. Я повел Эцуку к кожаному дивану, стоявшему в глубине магазина. Пробираясь меж витрин с выставленными товарами, я несколько раз чуть было не упал — крепко прижавшись ко мне, девушка лишала меня свободы движений. А если бы упал, то свалились бы мы вдвоем, в обнимку, и нам бы ни за что не подняться.

Я принял твердое решение. Больше никогда не расстанусь с ней. Пришло время, когда мы должны слиться в одно целое. ...Не отдавая себе отчета в том, что доводы моего воспаленного мозга вздорны, я проникся этой мыслью, утопив свое разгоряченное лицо в мягких волосах Эцуко. И поэтому был поражен, когда моя рука, скользнувшая по ее юбке, была вдруг отброшена. Какая-то ошибка, подумал я.

— Перестань, не смей.

С этими словами она снова отбросила мою руку. В тот миг я испытал лишь стыд. На какое-то мгновение на моем покрасневшем лице появилась странная ухмылка. Но она тут же превратилась в злобную гримасу.

— Ну что ты дурачишься?— я с силой отвел назад ее руку.— Зачем тогда пришла?— закричал я. Мне хотелось задушить ее. Но это продолжалось недолго. От охватившего меня возбуждения я вдруг обессилел. Эцуко дважды отбросила мою руку, но потом перестала сопротивляться. Это было еще хуже. Она лежала на боку, с широко открытыми глазами, точно брошенная на диван сломанная кукла. Из-под юбки безжизненно торчали худые ноги. ...Я пришел в замешательство — ну точь-в-точь как эскадра, вынужденная в ходе сражения перестраивать боевой порядок. Впервые у меня закралось подозрение еще в то время, когда в начале «летних каникул» Эцуко назвала цикаду птицей. Теперь, как мне казалось, я понял свое заблуждение: она просто еще совсем ребенок. ...В моих руках, обхвативших Эцуко, тело ее вдруг налилось тяжестью и отвердело, точно каменное, диван показался невероятно узким. Глядя на потолок, подобный черной дыре, я прижался горячей щекой к спине Эцуко. Ощущение чуть шероховатой кожи было приятным.

Но вот Эцуко встала с дивана. Глядясь в стекло витрины, она поправила волосы.

— Если тебе нужно зеркало, там есть большое.

Я сказал это, утопая в кресле, и сам удивился своим словам. Выходит, я тороплю ее уход. Но ведь тогда все будет потеряно.

Я встал, проводил ее туда, где висело зеркало, и включил яркую лампу. Моя предупредительность привела к обратному — отдалила от нее. В ослепительном свете складка на блузке меж торчащих лопаток худенькой Эцуко выглядела непереносимо жалкой.

—...— открыл я было рот, но тут же умолк. Я хотел что-то сказать, но никак не мог подобрать слов. Любое слово сделало бы еще более явным мое притворное безразличие... И тогда

она уйдет от меня в недостижимую даль. Значит, заговорить равносильно тому, чтобы собственными руками разорвать связывающую нас нить.

Эцуюко отвернулась от зеркала. Она беззаботно улыбалась.

— Проводишь до станции?

Я был не в силах сдержать себя.

— Нет. ...Нет, ни за что.

В охотничьем магазине N все оставалось по-прежнему. Меня это удивляло. На своей работе я теперь почти все время сплю. Делать ничего не хочется.

Открыв сонные глаза, я вдруг вижу на столе телефон. Я разом выпрямляюсь и хватаю телефонную трубку.

В ней ничего не слышно. Но я не выпускаю ее из рук. И, еще сильнее прижав к уху, жду. И ухо начинает, наконец, улавливать тонкое потрескивание — видимо, от ветра трутся друг о друга телефонные провода. Это, конечно, не слова. Но постепенно звук становится все тоньше и начинает напоминать человеческий голос. Что же он мне шепчет?..

Я долго не кладу трубку. Меня подстегивает желание быть обманутым.

Цирковая лошадь

Школа, в которой я учился, находилась недалеко от храма Ясукуни. Трехэтажное железобетонное здание школы считалось в то время современным, светлым и гигиеничным, но для нас оно всегда было темным, гнетущим, угрюмым.

Я был никудышным учеником. Мало того, что мои школьные успехи были весьма посредственные, я плохо рисовал, плохо писал сочинения, не проявлял способностей в изготовлении моделей самолетов и электровозов, не мог как следует играть на трубе или губной гармонике, а хуже всего давались мне занятия спортом. Я выбывал из игры даже в таких видах спорта, как бейсбол, теннис, плавание, фехтование, в которых, как в марафонском беге, если даже ты недостаточно ловок, но полон желаний бороться до конца, чего-то все-таки добьешься. На уроках физкультуры, когда проводились соревнования по баскетболу, я носился по площадке, уклоняясь от летящего мяча, чтобы не мешать остальным четырем членам команды, и, отчаянно размахивая руками, кричал непонятное мне самому «дон май, дон май»*. Ко всему прочему я был мальчишкой малосимпатичным. Когда в столовой, находившейся в подвальном этаже нашей школы, ученики усаживались вокруг длинного черного стола, я, опережая остальных, занимал самое лучшее место — именно в эти минуты я действовал проворнее других. Но все равно ел медленно и неопратно — после меня на столе всегда было набросано особенно много кусков капусты, политой соусом, риса.

* Дон май — искаженное английское *dont mind*, которое здесь можно перевести как «порядок».

Я не был даже хулиганом, как многие мои товарищи. После утренней поверки иногда проводился осмотр одежды, и классный руководитель выворачивал наши карманы, проверяя их содержимое,— все ученики боялись, что он обнаружит там крошки табака, спички, заостренную гарду бамбукового меча — прекрасное оружие в драках; я тоже дрожал, как они, но совсем по другой причине. Я представлял себе, как ужаснется классный руководитель Аокава-сэнсэй, да и я сам, когда из моих карманов вместе с огрызками карандашей и контрольной работой по математике, за которую я получил кол, посыплются самые невероятные предметы — перепачканные мелом рваные носки, хлебные корки, засморканный платок.

Когда такое случалось, Аокава-сэнсэй без малейшего гнева презрительно смотрел на меня сквозь очки в толстой оправе. А я бывал даже не в силах досадовать или сокрушаться и, испытывая полную опустошенность, старался не смотреть на него и только бормотал: «Да-а, ничего не поделаешь».

В классе я не суетился, не дрожал, как другие ученики, не приготовившие домашнего задания. Учителя были уверены, что у меня ничего не сделано, и почти никогда не вызывали к доске. А если вдруг вызывали, то неизбежно заставляли стоять до конца урока. Может быть, потому, что я мешал остальным, меня нередко выгоняли в коридор. Чем сидеть в классе, я предпочитал прохладиться в коридоре, где не было ни живой души. Правда, я злился, когда за дверью в ответ на какую-нибудь веселую шутку учителя мои товарищи раздражались дружным смехом... В такие минуты я смотрел в окно и повторял свое обычное: «Да-а, ничего не поделаешь».

Школьный двор представлял собой утрамбованную спортивную площадку, вокруг которой шла беговая дорожка,— на нем не было никакой растительности, деревья виднелись лишь за оградой храма Ясукуни, отделенного от школы узкой улочкой. Утром, когда я, опаздывая, бежал по этой безлюдной улочке, она бывала усыпана цветами каштана в желтую

крапинку, издававшими холодный сладковатый запах.

Весной и осенью в дни храмовых праздников все вокруг преобразалось. Откуда-то привозили толстенные бревна, они в беспорядке валялись повсюду, а потом в течение одного дня, используя их в качестве опор, сооружали по всему саду храма большие и маленькие шатры. Для нас это было предзнаменованием приближающихся каникул. Каждый день с утра до вечера слышался топот паломников попеременно с треском мотоциклов, грохотом оркестра, пением девушек, криками посетителей — все эти звуки доносились до нас вместе с запахом жарившейся на лотках еды; команды учителей на школьном дворе уже никто не слушал. Из окон школы, выходящих во двор, можно было разглядеть, что делается позади выстроившихся двумя рядами палаток.

Однажды у огромного циркового шатра я увидел привязанную возле него гнедую лошадь. ...Она была так худа, что торчали ребра. От старости шерсть потеряла блеск. Но самое удивительное — на спине у нее, в том месте, куда обычно кладут седло, была глубокая впадина. Почему она образовалась, я представить себе не мог, но лошадь от этого выглядела неимоверно жалкой.

Всякий раз, когда меня выставляли в коридор, я размышлял об этой лошади. Может быть, она, так же как и я, ленива и ни на что не способна и за это ее нещадно избивает хозяин цирка? А потом сам удивляется, почему его лошадь дошла до такого состояния, что вот-вот подохнет. Но все-таки жалеет отправить ее на живодерню и из года в год тащит сюда и ставит подальше от посетителей цирка, чтобы те не увидели ее. ...Думая об этом, я ловил себя на мысли, что, наверно, и лошадь, вытянув шею и ощипывая листья с каштана, шепчет: «Да-а, ничего не поделаешь».

Я всегда любил наблюдать за тем, что происходило вокруг меня. Греясь на матрасе, вынесенном сушиться на солнце, я самым серьезным образом размышлял о том, как было бы хорошо, если бы пришли к концу отпущенные мне в этой жизни дни.

Иногда в школе устраивались загородные экскурсии — нас учили выкорчевывать деревья, таскать за плечами тяжелые ивовые корзины, а я в это время, бездумно подперев щеку, сидел на земле и неотрывно смотрел, как солнечные блики пляшут на протекающей вдали широкой реке. «Эй, Ясуока! — окликал меня Аокава-сэнсэй. — Что ты там делаешь? Все работают не покладая рук, один ты прохлаждаешься. Разве это честно?» Что я мог ему ответить? Вроде бы куда-то смотрю и не смотрю. Вроде бы отдыхаю и не отдыхаю. Молчу — что мне остается делать, — а брови Аокава-сэнсэя изгибаются треугольниками, глаза зло сверкают, и толстая его ладонь влепляет мне звонкую пощечину...

Больше всего на свете любил я прогуливаться у балаганов, построенных в праздничные дни в храме Ясукуни. Для мальчишки моего возраста выставленные там оборотни с длинными шеями — явное жульничество, — состязания боксеров с дзюдоистами особого интереса не представляли. Поскольку празднества приходились на школьные каникулы, дружная компания наших учеников отправлялась в Хибия, Синдзюку на рею или в кино. Я же любил развлекаться здесь, в храме. И бродил по саду, с трудом пробираясь в толпе.

...Теперь и не припомню, почему я в тот день оказался в цирковом шатре. Усевшись на грязную отсыревшую подушку, которую я положил на устланный циновками пол, я рассеянно смотрел бесконечное представление: медвежью борьбу, хождение девушки по канату и всякие другие номера. Вдруг от удивления я вытаращил глаза. ...На середину арены вывели ту самую лошадь. Я возненавидел хозяина цирка. Неужели он решил выставить на посмешище эту клячу лишь потому, что не хочет зря кормить ее?

Лошадь — ее вел под уздцы мужчина в бархатном костюме, расшитом золотыми галунами, — шла понурившись, вихляя из стороны в сторону своим вогнутым хребтом. Седла на ней не было, а походка такая, что казалось, будто грудь, прикрытая сеткой из золотых нитей, и круп существуют сами по себе. ...После того как лошадь сделала круг по арене,

оркестр вдруг громко заиграл. И она стремительно помчалась по кругу.

Зрители не верили своим глазам. По мере того как оркестр набирал темп, лошадь неслась все быстрее. И тогда стоявший на высоком помосте акробат вскочил ей на спину — как раз туда, в эту самую впадину. Раздались аплодисменты.

Вот тебе на, значит, лошадь — звезда этого цирка? С человеком на спине она удивительно оживилась. И начала демонстрировать головокружительно смелые трюки, на какие только была способна лошадь, — отработанные в течение многих лет сложнейшие номера. Она танцевала под музыку, совершала странные движения, отбивая такт копытами, становилась задними ногами на подставку... Что с ней произошло? Я был поражен. У меня стало легко на душе от одного сознания, что я на ее счет заблуждался.

Я глядел, затаив дыхание, на лошадь — она, проскочив через огненный обруч, с тремя девушками на спине, стоявшими друг у друга на плечах, неслась по кругу — и вдруг, опомнившись, начал бешено бить в ладоши.

Содержание

5 В. Гривнин. Лирическое путешествие в прошлое

11 Морской пейзаж (повесть)

Рассказы

105 Хрустальный башмачок

122 Цирковая лошадь

СЁТАРО ЯСУОКА МОРСКОЙ ПЕЙЗАЖ

Ответственный за выпуск *В. Перехватов*

Редактор *М. Ткачев*

Обложка художника *А. Махова*

Художественный редактор *С. Мухин*

Технический редактор *Г. Голосовская*

Корректор *Л. Шмелева*

ИБ № 730

Сдано в набор 22.12.82. Подписано в печать 6.04.83. Формат 70×100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 5,2. Уч.-изд. л. 5,99. Тираж 50 000 экз. Зак. № 1235. Цена 70 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». 103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.



СЁТАРО ЯСУОКА
(родился в 1920 году) — известный японский писатель, член Академии изящных искусств. Окончил английское отделение столичного университета Кэйо. Писать начал поздно, но первый же его рассказ "Хрустальный башмачок" (1951) привлек внимание критики и был выдвинут на премию Акутагавы — одну из самых престижных литературных премий Японии. Однако премию эту Ясуока получил лишь через два года за рассказы "Мрачное развлечение" и "Дурная компания". Широкую популярность Ясуока принесли его повести "Морской пейзаж" (1959), переведенная на многие языки мира, и "Когда опускается занавес" (1967). Многие произведения писателя автобиографичны. Его прежде всего интересует внутренний мир человека, столкновения характеров. Творчество Ясуока развивается в русле традиционной японской эстетики.